



К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ

Граф В. П. Панин. Министр юстиции

O Altitudo!¹

В сочинении Кошихина о России в царствование Алексея Михайловича и во множестве актов того времени раскрывается перед нами картина того беспорядка, который господствовал в русском управлении в течение XVII столетия.

С тех пор совершилась реформа Петра Великого, мы вошли в постоянный союз с Европою; приняли от нее формы гражданского управления, по ее примеру ввели и развели у себя в формальном отношении до последней возможности начало централизации властей; с тех пор прошло полтораста лет, совершились великие исторические события, умножились до бесчисленности громкие уроки науки и опыта. Казалось бы, что картина настоящего управления должна в существенных чертах своих развиться от мрачной картины кошихинского периода: и точно, вглядываясь в явления настоящего нашего общественного быта, мы замечаем прогресс, за который не можем не благодарить свою эпоху; во многом общественные обычаи наши изменились к лучшему, личность гражданская получила некоторые гарантии, которых не имела прежде, некоторые злоупотребления прежнего времени сделались почти невозможными.

Но присматриваясь к ходу нашей административной машины, мы с грустью убеждаемся, что недалеко ушли от XVII столетия. Тридцатилетнее царствование Николая как будто отодвинуло нас далее в глубину минувших веков. В эту скорбную эпоху для России правительство ее, по-видимому, решилось отказаться от тех руководящих начал, которые прежние монархи ставили во главу всей своей деятельности. Посмотрите на XVIII столетие: вы увидите какую-то юношескую, пылкую деятельность в правительстве: оно смело и откровенно обращается к народу,

оно живет еще идеями Петра, жадно стремится знать все, требует просвещения и для себя, и для своего народа, оно еще не боится открыто назвать зло злом, а правду правдою; оно вызывает народ к деятельности и смотрит еще на народ не как на отвлеченное понятие, а как на людей, вверенных его управлению, и на призыв правительства действительно являются из среды народа живые деятели, с которыми оно не прерывает прямого непосредственного сообщения.

Совсем в ином виде является наше правительство во 2-й четверти XIX столетия. Живое отношение его к народу вовсе прерывается, и первое как будто становится для последнего чем-то чуждым и враждебным, потому что повсюду чувствует он на себе только гнетущую, обирающую руку власти. «Власть безусловная и безответственная» — в этих словах выражается вся внутренняя политика николаевского правления: вот начало, которое он в каком-то сверхъестественном ослеплении поддерживал в себе во что бы ни стало. Отсюда и это суровое отдаление от народа, в которое поставила себя личность монарха, и это отсутствие всякого человеческого сочувственного отношения правительства к народу, и это преследование всякой идеи, всякой умственной и нравственной самостоятельности, и постоянное стремление подвести всякое явление духовной умственной жизни под уровень военной дисциплины, и это отречение от науки и просвещения, которого мы были, к стыду народа и монархии, свидетелями в последние годы царствования. Известно, что было плодом этой ужасной разрушительной системы: в год смерти Николая, в тяжкую эпоху России, в числе всех лиц, стоявших во главе управления, не оказалось ни одного человека, на которого смятенное отечество могло бы смотреть с надеждою, от которого могло бы ожидать спасительного руководства, спасительной деятельности; отечество видело только рабов и ласкателей, окружавших престол. Идея о патриотизме, которую покойный государь открыто стремился превратить в понятие о службе правительству, как будто вовсе исчезла из сознания наших правителей от мала до велика; служба государственная почти повсеместно сделалась службою — лицу Начальника, или службою мамону². Правители думали только о том, как бы попасть в милость к царю или начальнику, как бы наградить и обогатиться: немногие, очень немногие имели еще в виду пользу общественную; повсюду, как нарочно, управление вверено было людям неспособным. Начальник мог повелевать беспрекословно; а самым способным к начальству, по системе Николая, считался тот, кто не привык рассуждать, а привык повиноваться слепо и беспре-

кословно — не закону, не совести — (и закон и совесть слишком близко касались опасной области идей), а воле Начальника. Несколько любимцев, не имевших понятия о законе и законности и не знавших предела своему самовластию, захватили в свои руки всю государственную власть в России. Под личиною преданности престолу и не думая об отечестве, которое давно от себя отделили, эти люди систематически запирали дорогу всякой здоровой мысли, всякой правде, которая отыскивала себе путь к престолу, систематически обманывая государя, прервав навсегда непосредственное отношение его к делам и к народу, и все управление превратили в мертвый механизм, для которого живой человек не значит ничего, но вся цель состоит в бумажной очистке и бумажном исполнении. Естественно, что в таком положении всякое проявление какой бы то ни было самостоятельности казалось возмущением противу властей; всякое возражение противу сильного произвола, основанное на законе, почиталось за верный признак человека беспокойного и не способного к службе; свободное суждение о лицах, незаконно присвоивших себе сущность самодержавной власти, представлялось оскорблением величества. Тьма все гуще и безотраднее ложилась на Россию, и движение мысли, обнаружение истины, сделалось почти невозможно.

С кончиной Николая железная рука властителя опустилась, и лучи света начали мало-помалу проникать сквозь тьму неведения. Как малые дети обрадовались мы этому неожиданному явлению, давно не испытанному в России; как малые дети, начав дышать несколько свободнее, вообразили мы, что настает новый век благоденствия и благодетельных перемен во всем нашем общественном быте. Последствия показали, что радостные ожидания были преждевременны. Появившийся свет только ярче озарил перед нами бедственную картину современного положения России. Отвсюду поднялись громкие вопли о злоупотреблениях и насилиях, о грабительстве чиновников, о мертвенной обрядности в управлении; но чем громче становятся эти крики, чем более выставляется поразительных явлений зла, тем слабее делаются надежды, возбужденные переменою правительства, тем ощутительнее становится недостаток средств к исцелению наших внутренних болезней. Правда, что Александр II с первых дней царствования показал в себе образ человека с сердцем: куда был наследником, он никого не сделал несчастным, но многие обязаны были ему облегчением своей участи; сделавшись русским царем, он первый отворил нам дверь для света и для воздуха, которых нас так долго лишали. Но как бы ни были

благодетельны намерения нового царя нашего, — потребна геркулесова ловкость и сила, чтобы очистить весь сор, копившийся у нас в течение 30 лет. Для того, чтоб истребить зло, надобно распознать его в самой сущности; но какая же есть возможность истине, в настоящем положении, проникнуть в царское сознание сквозь тесный ряд старых николаевских советников, по-прежнему окружающих престол? Потребны люди способные, а могут ли они явиться, покуда господствует еще во всей силе застарелый служебный формализм, покуда в служебных отношениях живая идея не заменила еще безжизненного обряда и мертвой буквы?

То состояние, в котором находится у нас управление в настоящую минуту, всего приличнее назвать *организованною анархией*. Власть щедрою рукою рассыпана у нас повсюду; от министра до будочника — на каждом шагу встречается лицо, облеченное всею неприкосновенностью власти. Все эти власти по видимому тяготеют одна к другой, распределены в строгом порядке по разным ведомствам и поддерживаются соблюдением служебной дисциплины. Но в действии всех правительственных мест и лиц не замечаем того, что составляет существенную принадлежность власти правильно организованной: единства и последовательности. Центральными местами управления служат у нас министерства, и министры, стоящие во главе их, облечены действительно почти безграничною властью. Но в этом самом положении министров и коренится главная причина того страшного безвластия, которое распространилось по всей России. Начало министерское в том виде, в каком оно у нас принято, есть начало личного управления, и в этом отношении приняв новую форму, мы остались, в сущности, почти на той же почве, на которой стояли в XVII столетии. Каждый министр заботится прежде всего о том, чтобы ему действовать особняком, независимо от всех других министров и как можно самовластнее. Каждый видит в себе полнейшее отражение самодержавной власти и считает себя безответственным ее представителем: если закон стесняет его, он не стесняется законом и, когда нужно высказаться, без всякого зазрения совести прикрывает себя авторитетом «Высочайшего повеления», которое от него же зависит, потому что Высочайшая власть с ним только имеет дело непосредственно. Поэтому вся политика осторожного министра состоит в том, чтобы избежать столкновения с другим сильным лицом, тоже имеющим непосредственное сношение с Монархом, или забежать к своему товарищу с «Высочайшим повелением», которого тот не мог предвидеть или предупредить другим Высочайшим повелением. Что

же касается до тех случаев, когда не предстоит никакой надобности оглашать распоряжение, или не предстоит никакой опасности столкновения, — можно себе представить, какое обширное поприще представляется самовластию, особливо если оно, как по большей части случается, бесстыдно верует в свою законность. Если Министр деятелен, беда государству, беда делам и лицам от его фантазий; если он ленив, — беда от фантазий вольных и невольных Директоров и Канцелярии. Таким образом, государственная колесница движается то в ту, то в другую сторону, смотря по тому, какому коню вздумается над нею потрудиться; некому поправить ее, некому держать в равновесии движущие силы, потому что Императорская власть, при нынешнем развитии Министерской, сделалась мифом, не имеющим существенного значения. Государь вверяет власть свою Министрам, все, что знает, знает от них и покрывает все их действия своим именем! Не так бывало прежде, при Петре, при Екатерине, — но преемники их, к несчастью, пожертвовали отвлеченной пустой идее власти всем существом ее... Гибельно было для России такое жертвование: крепко держась прежних привычек, она продолжает еще смотреть на государя как на единственную защиту от притеснителей; но народ отстает и от вековых мнений, когда они в явном разладе с действительностью, и если существующая пагубная система не изменится, придет время, когда по милости деспотов, окружающих престол, народ будет видеть и в царе только безличный грозный образ какой-то чуждой власти.

Итак — *единой* власти, которая руководила бы Министрами, нет у нас. Они сходятся для совещания в комитете³, в государственном совете⁴, — но здесь они совещаются о своих же мерах или сами, или совокупно с лицами, которые имеют интересы и взгляды, более или менее сходные с их интересами и взглядами, и состоят в подобных же отношениях к лицу монарха. Каждый из членов Собрания имеет нужду в другом, а потому нетрудно им согласиться на общих основаниях. Притом и Совет и Комитет — места чисто совещательные: положения их получают силу по высочайшему повелению, а государь по необходимости должен основываться на том, что представляют ему официально кабинетные его советники.

Министр — единая особа, а в «единой особе, — сказал Петр, — не без страсти бывает». Прибавим: особенно когда власть ее не знает пределов. А на министра — *de facto* — жаловаться некому; закон (259 ст. учр. мин.) допускает жалобы, непосредственно Императорскому Величеству приносимые. Но, кажется, опыт веков и поколений удостоверяет, что от кабинетной юстиции

нельзя ожидать удовлетворения. Куда поступает жалоба на министра, прежде чем дойдет до Высочайшего усмотрения в комиссию прошений, где начальствует лицо, стоящее наряду с министрами и в непосредственных с ними сношениях? Можно ли ожидать, чтобы лицо это со всеми приданными в помощь ему членами осмелилось безбоязненно подвергнуть критике действия министра, особливо такого, который состоит в частых и близких сношениях с государем? Насилия Клейнмихеля были бесчисленны, закон нарушался им непрерывно, но разве могла во время его могущества получить ход жалоба, на него принесенная? Можно ли ожидать самостоятельного мнения от членов, когда один только Статс-Секретарь докладывает государю о заключениях комиссии? Что он докладывает ему, неизвестно никому, кроме его и Государя, но известно, что самому важному делу, если оно докладывается с глазу на глаз, докладчик может дать вид дела, не заслуживающего внимания, и действительно, мы не знаем примера, чтобы по жалобе, поступившей в комиссию прошений, когда-либо возбуждена была серьезная ответственность министра. Наконец, не в руках ли самого министра находятся все те данные, по которым комиссия должна судить о его действиях: он доставляет ей объяснение по принесенной жалобе, и это объяснение, конечно, не предъявляется обиженному, принесшему жалобу. Нам известны случаи, в которых министр, давая объяснение, умалчивал о главном предмете жалобы, а упоминал только о второстепенных и незначительных обстоятельствах, и такому объяснению предшествует обыкновенно в деликатных случаях словесное объяснение между доверенными чиновниками комиссии и канцелярии министра. Результатом бывает заключение комиссии, вовсе умалчивающее о главном предмете жалобы, или еще проще — просителю объявляется, что жалоба его отослана для удовлетворения к тому же лицу, на действия которого была принесена, притом заключение комиссии в большинстве случаев, когда члены ее лично не заинтересованы в деле, составляется обыкновенным канцелярским порядком, то есть по мнению канцелярии, так что в обыкновенных делах участь просителя находится в руках у производителей или у их помощников. Одним словом, ни один министр в настоящем положении не имеет повода опасаться за последствия своего распоряжения, как бы ни было оно противозаконно и насильственно, если только это распоряжение относится к частному лицу, которое по личному влиянию своему не имеет средств найти себе защиту.

Там, где, как у нас, общественное мнение вовсе не организовано и почти не имеет силы, такое безответственное положение

10-ти или более самовластных центральных правителей есть само по себе зло великое, источник великих бедствий для России. Но всего бедственнее то, что та же безответственность в большей или меньшей степени распространяется на все органы управления, подчиненные влиянию министров. И это весьма естественно. Ответственность тогда только может быть действительна, когда возникает не из случайного столкновения личностей, не вследствие личной прихоти или личного временного взгляда, когда в основании ее лежит не произвол, а применение разумного начала, постоянное, последовательно верное себе, утвержденное на законе. Такое применение возможно только при правильном и беспристрастном обсуждении действия, подлежащего ответственности, а можно ли надеяться на такое обсуждение от единой особы, в которой, повторяем, не без страсти бывает. Ответственность чиновника тогда только служит надежным обузданием его произвола, когда представляется неизбежною, когда ни одно нарушение прав, допущенное им, не остается без взыскания, как скоро доходит до рассмотрения высшей власти, когда никто не может с полною вероятностью рассчитывать на безнаказанность. Без такой ответственности невозможно и ожидать в органах правительства уважения к закону и к правам частных лиц, на законе основанным. Такого результата невозможно достигнуть при помощи одного только личного управления, в коем все лица, составляющие правительственную лестницу, тесно связаны друг с другом, зависят друг от друга, друг друга смотрят и друг с другом соображаются, в котором каждый начальник облекается в звание судьи над своим подчиненным, милуя и наказывая кого хочет, а каждый подчиненный относится к начальнику как к единственной грозе своей и своей защите. Очевидно, что здесь начальник, превратившийся в судью, и подчиненный, сделавшийся его подсудимым, связаны интересом одной корпорации. Всякая ответственность будет пустым звуком, случайным явлением, если нет в Государстве органа, отдельного от прочих частей управления, составленного из лиц, вполне от него независимых по своему положению, который имел бы право и обязанность наблюдать за исполнением законов и полную власть немедленно подвергать всех членов управления ответственности за нарушение закона.

Так учит наука государственного права, на основании векового опыта, так судили и мудрые законодатели России — Петр и Екатерина. Петр положил и у нас начало учреждению, которое долженствовало бы утвердить в России на прочных основаниях действие Закона, если бы мысль великого монарха была ясно

понята и сохранена свято. Но в числе многих других начал, завещанных России Петром, и это благодетельное начало предано забвению в XIX веке. Заботясь только об ограждении своего личного произвола, о неприкосновенности своей власти, русские министры мало-помалу захватили в свои руки и разделили между собою полюбовно все управление. *Сенат*⁵ оставался еще единственным местом, в котором можно было надеяться на обнаружение истины посредством свободного коллегиального обсуждения, местом, которое *по праву* одно только могло сказать министру: «*Нет!*», могло обвинить его и имело власть подвергнуть ответственности всякого нарушителя законов в империи. Хитрой политике министров удалось наконец лишить сенат на деле этой благодетельной власти, превратить его сначала в собрание, нарочно составленное из людей, заведомо неспособных и робких, говорящих устами канцелярии, ничего без нее не умеющих, и, наконец, в военную богадельню. Нетрудно было им внушить императору Николаю, ослепленному верою в свое величие, не терпевшему никакой самостоятельности в мнении, нелепое подозрение, что власть сената может сделаться властью политическою, опасною для его власти; нетрудно было государя, питавшего отвращение от всякой корпорации, убедить, что власть правительственная должна принадлежать только физической власти. Теперь, кажется, министры достигли своей цели: сплошною стеною, крепко держась друг за друга, стали они между государем и его народом, — систематически покрывая свою властью все злоупотребления низших властей, систематически закрывая правде путь к престолу. Права сената великолепно красуются еще в первом томе свода законов, но власть его над подчиненными местами давно уже не существует; а нравственный авторитет, столь долго служивший обузданием обидчиков и надеждою обижаемых в отдаленнейших углах России, не поддерживаемый ни личными качествами членов его, ни материально силою власти, готов уже совершенно разрушиться. В этой бездейственности, в этой зависимости центрального органа, обязанного наблюдать за исполнением законов, — вот в чем по всей справедливости заключается главная причина зла, которое мы почитаем существенным в Русском управлении, того состояния, которое мы в начале статьи назвали организованною анархией. Того, кому показалось бы парадоксальным это выражение, мы спросим: как же иначе назвать состояние, в котором одна власть систематически поддерживает другую, каждая, не справляясь с законом, распоряжается по произволу и может со всею вероятностью рассчитывать на безнаказанность? Вся забота чиновни-

ков состоит в том, чтобы «очистить себя на бумаге», да и эта бумажная очистка не всегда считается необходимостью, потому что понятие об ответственности на деле ни с чем в особенности не связано; оно носится в воздухе, готовое ниспасть на голову — виновную или невинную, по произволу начальника; а подчиненному предоставляется рассчитывать вероятность взыскания по тому, каков начальник: умен или глуп, ленив или деятелен, входящ или не входящ в дела, сведущ в них или неопытен и т. п. Понятно, что успев примениться к начальнику, прислужиться ему, угодить ему, еще лучше, — успеть сделаться для него необходимым, подчиненный может быть вполне уверен в своей безнаказанности. С другой стороны, человек неповинный не может быть вполне удостоверен в том, что ему отвечать не за что. Тысяча формальностей, весьма часто вовсе неисполнимых, которыми запутано у нас производство, дают начальнику во всякое время готовый предлог обвинить подчиненного в чем угодно. Оттого законное правило: всякий отвечает за вину свою и никто не отвечает за вину другого, — на деле заменяется у нас другим правилом, которое вошло уже у чиновников в поговорку: никто не отвечает за вину свою и всякий может отвечать за вину другого.

Всякий, кому случалось, не имея связей в губернском управлении, иметь дела и ходатайствовать по ним (а кому не приходилось иметь дела — в России?), без сомнения, испытал на деле истину вышесказанного. Отчего, например, тянутся до бесконечности дела о взыскании по заемным письмам? Отчего долговой документ нередко по несколько лет остается без предъявления ответчику, спокойно переезжающему из деревни в деревню? Отчего должник, не желающий платить, может с удобностью протянуть на десяток лет дело о взыскании и потом самое взыскание отсрочить на неопределенное время? Отчего несчастный крестьянин в течение нескольких дней не может иногда добиться, чтобы приняли от него подушные в казначействе? Отчего по частной жалобе в деле, не терпящем отлагательства, объяснение низшего места не доставляется высшему в течение полугода, года, иногда нескольких годов? Отчего следователь, растягивая следствие на неопределенное время, оканчивает его, не спросив тех людей, которых показания были всего важнее, и тем нередко навсегда закрывает истину? Отчего частный пристав произвольно берет под стражу людей и держит их по несколько месяцев в секретной, не объявляя причины ареста? Отчего самые благодетельные постановления закона, имеющие целью оградить личность гражданина от насилий и угрожающие нарушителю строгим наказанием, давно превратились у нас в мертвую букву без

значения и силы? Вопросы эти можно умножить до бесконечности, и всегда главною причиною беззакония, не перестающего повторяться, будет именно то, что нарушители закона почти никогда не подвергаются ответственности и потому почти никогда ее не опасаются. Нельзя же серьезно назвать ответственностью замечание или выговор, который после продолжительных объяснений сделает виновным губернское правление или начальника губернии по жалобе или сообщению места, которого распоряжение исполнялось.

Чем выше станем поднимать ее в сферу управления, тем прозрачнее оказывается ответственность правителей! Например, почти повсеместно видим неспособных губернаторов, дозволяющих себе ежедневно открытые насилия и нарушения закона, по всей губернии поднимается крик, подаются сотни жалоб и протестов, требуются объяснения, но часто ли случается слышать, что губернатор подвергнут серьезной ответственности за явное насилие, обыкновенным порядком, властью, установленною для разбора жалоб? Почти никогда. Зато слышишь беспрестанно, что прокурора уволили или перевели на другой конец России за то, что он не в ладу с губернатором; действия губернаторов нередко уничтожаются сенатом; но взыскания сенат не делает никакого, потому что сам собою не вправе наложить его: не всегда же сто́ит из-за какого-нибудь выговора или поставления на вид представлять доклад чрез комитет министров. Иногда губернаторы подвергаются взысканию через министра внутр<енних> дел, и взыскание это состоит по большей части в том, что губернатора переводят в другую губернию или назначают сенатором. Если же сказано в указе: всемилостивейше уволить от службы, — то, без сомнения, губернатор был или вовсе глуп, или поспорил с генерал-губернатором, или не покорился Гвоздеву *, или не оказал должного почтения какому-нибудь лицу вроде Клейнмихеля, проезжавшему его губернией. Редко случалось, что беззакония губернатора, сделавшиеся уже слишком гласными, были действительной причиною его увольнения. Все эти меры объявляются внезапно, без означения причин, указы как будто спадают с неба, и замечательно, что в каждом непременно помещено всемилостивейшее слово **. Стыдится ли правительство всена-

* Директор департамента общих дел в министерстве внутренних дел.

** Нередко даже награждаются; так, Назимов представил к ордену коменданта Вильны, чтоб поправить его в общественном мнении, в котором он упал после гнусного опыта обесчестить порядочную женщину.

родно, на поучение всем, поддержать силу закона, назвать зло злом, а правду правдою? К сожалению, в отношении к высшим чинам управления — всякая мысль о поддержании силы закона поглощается у нас пагубною мыслью о том, что надобно прежде всего поддерживать власть! Как будто власть унижается от того, что один из ее представителей обличен в нарушении закона! Как будто можно скрыть от народа ежедневно в глазах у всех совершающиеся насилия и беззакония! Как будто не в тысячу раз более правительство теряет в народном мнении от того, что скрывает действие своего правосудия! Неужели опасно было бы показать народу, что правительство не глухо к его жалобам, что оно мстит за обиду и что закон в исполнении не остается мертвою буквою? Нет, этого не допускает лицемерная система, в силу которой народ всегда предполагается благоденствующим, а правители его все без исключения мудрыми.

Говорить ли дольше о том, чего не хотят знать многие правители и что слишком известно частным лицам? Известно, например, что в силу той же лицемерной системы у нас возведена чуть ли не в степень догмата безответственность не только высших, но и низших чинов полиции, тогда как, с другой стороны, одно слово «полиция» в мнении народа и на самом деле стало синонимом отъявленного грабежа, взяточничества, насилия и всякого беззакония. Эта безответственность полиции особенно поддерживается там, где над нею имеет власть не губ<ернское> правление (место полуколлегиальное), а генерал-губернатор. Здесь на полицию почти уже невозможно получить управу, потому что личное управление является во всей своей силе. Генер<ал>-губернатор видит в оберполицмейстере отражение своей личности, а этот последний стоит уже, как за самого себя, за частного пристава и квартального, которых не совестится наедине осыпать площадною бранью, за городского и будочника, которых бьет собственноручно*.

Только недобросовестный ум может еще спорить против того, что описываемое нами состояние неверно: все люди благородно мыслящие и желающие добра не себе только, а своему отечеству, согласятся, что тут великое зло и что необходимо искать средств к его исправлению. Средства могут быть предлагаемы различные, смотря по тому, что будет иметь в виду каждый рассуждающий о деле. Многие, углубляясь в отдаленнейшие причины зла, будут иметь в виду радикальное его исцеление, предложат проекты, имеющие целью преобразование целого управ-

* Как это делал Беринг и блаженной памяти Цинский.

ления, перемены в целом общественном быте. Подобные советы столь же мало соответствовали бы нашей насущной потребности, как мало соответствовали бы одни сухие наставления потребности человека умирающего от голоду, у которого нет ни хлеба, ни угла, ни одежды, ни случая к насущной деятельности. В том положении, в котором мы находимся, рассуждения об отдаленных причинах наших бедствий, о преобразованиях радикальных необходимы без сомнения; но имея в виду отдаленное благо, увлекаясь общими идеями, не упустим из виду ближайших частных невыгод. Может быть средство к устранению их у нас под рукою. В ожидании учреждений совершеннейших стараемся дать свободный ход тем учреждениям, которые у нас есть: это несравненно легче сделать, чем заменить новым прежнее, уже испытанное на деле.

Публичного мнения у нас нет, о гласности мы смеем только мечтать и бог весть когда ее дождемся; мы видим, что едва только рассуждения о гласности начинают выходить из области идей и приближаться к делу, как поднимаются из высшей сферы управления крики о том, что Государство в опасности и что пора прекратить соблазнительные речи. Пока мы рассуждаем о публичности, — всякое дело еще рассматривается у нас в тайне, покуда мы изыскиваем способы доставить правосудие всем и каждому, — у нас нет *никакого* правосудия. Настоятельная потребность гражданского общества состоит в том, чтобы обиженный мог найти себе обыкновенным порядком защиту от произвола, чтобы нарушитель закона не оставался без ответственности. Там, где эта настоятельная потребность не удовлетворяется, гражданский порядок не имеет твердого основания, невозможно успешное развитие экономических сил и утверждение общественного кредита, — потому что не обеспечена ни собственность, ни личность гражданина; невозможно и успешное развитие нравственных сил, потому что чувство правды на каждом шагу оскорбляется и понятия о справедливости более и более темнеют и спутываются в народном сознании. Такое состояние не может держаться на одной степени: зло по природе своей стремится к развитию и развивается до бесконечности, если не встречает уравновешивающего противодействия разумной и доброй силы. То состояние, в котором мы находимся, если продолжится долее, может привести нас к положению безвыходному, к полному разложению всех элементов, на которых зиждется гражданское общество.

Какое же найти ближайшее средство, — не говорим к водворению правосудия и законности в России, потому что для этого

потребны прежде всего время, затем новые люди и новые учреждения, — но, по крайней мере, к *исправлению* той официальной неправды, в которой мы живем и двигаемся? Каким способом можно дать единство разнообразному и беспорядочному нашему управлению? Как достигнуть, по крайней мере, того, чтобы разрушитель закона, несмотря ни на какую личную защиту, *боялся* ответственности за свое беззаконие?

Ближайшим для сего средством мы почитаем верховную коллегию, в которой сосредоточивалось бы постоянное наблюдение за охранением закона в целом государстве, составленную из людей, не принадлежащих ни к какому министерству или управлению и поставленных в положение материально и нравственно независимое, коллегию, которой ни одно лицо в империи, кроме государя, не могло бы почитать себя неподчиненным и неподведомым, которая могла бы на всех и каждого принимать жалобу, от всех и каждого требовать ответа. Для того, чтобы устроить такое место, не требуется в настоящую минуту никакого преобразования в государственных учреждениях; стоит только вывести сенат из того унижения, в котором он ныне находится, очистить его от неспособных и недостойных судей, которыми он наполнен; не нужно писать новых законов; стоит только понять и применить к делу учреждение существующее, воспользоваться тем, что есть.

В настоящем своем положении сенат всего менее способен удовлетворить той цели, которая для него назначена законом. Он лишен почти всякой власти кроме власти решать дела да посылать указы к министрам и к лицам и местам губернского управления. Но указы его потеряли свое значение, их не слушают и не исполняют, над ними смеются. Министры, подписывая донесения сенату, знают, что подчинение их сенату пустая форма, и не ждут никакого разрешения, никаких указаний от того места, членов которого сами они выбрали из старых, неспособнейших чиновников своего управления; губернаторы знают, что сенат не имеет над ними никакой власти; губ<ернские> правления безнаказанно пренебрегают его предписаниями, судебные палаты совершают беззакония под его покровом. Все смеются над сенатом, но все смеются от того именно, что над ним насмеялось, его унизило, себя отделило от него то самое лицо, которое по учреждению долженствовало бы стоять нераздельно с сенатом и быть первым блюстителем сенатской власти — Генерал-прокурор, министр юстиции, граф Виктор Никитич Панин.

Личность Панина принадлежит к числу самых замечательных личностей минувшего царствования. Только при Николае,

«только в эту» годину и область темную мог явиться такой человек тьмы! Скажем более, ни в одном из всех людей, вызванных Николаем к государственной деятельности, мы не видим такого полного яркого воплощения николаевской системы, как в графе Панине: в лице его система эта доведена уже до крайней точки, до нелепости, до сумасшествия: кажется, сам покойный император, если бы мог в лице гр. Панина узнать ясные черты своей государственной системы, ужаснулся бы ее и отрекся бы от нее: так очевидно в этих чертах отсутствие всего человеческого, всего разумного и справедливого. В Клейнмихеле увидела Россия с первого раза воплощение грубой материальной силы, насилия и беззакония: это был скорее ненавистный факт, нежели ненавистная личность; это было какое-то грозное явление природы, разрушительно пронесшееся над Россией. Но в графе Панине явилось перед нами самое начало разрушения, представилась целая система, тяготеющая над Россией, система насилия сознательного, личного произвола, официальной лжи, лицемерия, возведенного в догмат, система тем более губительная, что здесь она применяется к самой важной и существенной части государственного управления — к правосудию. Долго скрывалась личность Панина за бюрократической оградой, за массой ордеров, докладов и всякого рода канцелярских бумаг, неизвестных публике; но тайна мало-помалу стала обнаруживаться: с тех пор, как начал проникать со всех сторон свет в Россию по смерти Николая и со всех сторон явилось живое стремление к свету, все начали понимать, какую роль играет министр юстиции в старой системе противодействия всякому свету под предлогом охранения власти и порядка. В настоящую минуту можно сказать утвердительно, что ни на одном лице не сосредоточивается с таким единодушием общественная ненависть в России, как на гр. Панине: ненависть дворянства, ненависть чиновников всех министерств, а в особенности министерства юстиции; ненависть тех, кого он гонит, ненависть тех, кому покровительствует, ненависть всех людей, которые никогда не видали его, но отовсюду об нем слышат, ненависть всех тех, которые, приближаясь к нему, утратили почти всякое чувство собственного достоинства. Говоря по правде, он достоин не ненависти, а сожаленья: ненависть должна пасть на систему, вследствие которой сделался возможным такой министр юстиции. Рассказы о нем распространены по всей России; анекдоты о частной жизни его и об официальных отношениях служат ежедневно забавой для высшего и среднего круга в столичном обществе; всюду и каждый день имя Панина поминается недобрым словом. Являясь перед публикой

то тираном и гасильником света, то каким-то полишинелем⁶, то просто умалишенным, он возбуждает попеременно ненависть, презрение и смех; но все эти впечатленья сходятся в глубоком отращении, которого не может не чувствовать благородно мыслящий человек, видя, что первое и самое важное дело в России — правосудие — вверено безотчетной власти человека, почитаемого одною половиною России первым врагом отечества и всякой правды, а другою половиною признаваемого за явно сумасшедшего. Одни говорят: «Неужели государь не знает, не видит?» — «О, если б государь мог знать и видеть хотя малую часть всего, что делают люди, облеченные его доверием! О, если б хоть эти строки, попавшись на глаза ему, побудили его избавить Россию от гр. Панина!» Другие говорят: «Но кого же сделать министром юстиции?» Мы ответим на это: кого-нибудь, лишь бы этот кто-нибудь не был лишен здравого смысла и самых первых общих понятий о правосудии, лишь бы этот кто-нибудь был человеком; неужели человека, простого здорового человека, не найдется в России на место графа Панина?

Как ни странно представить себе сумасшедшего министра юстиции, но когда называют гр. Панина сумасшедшим, мономахом⁷, — нет достаточных оснований возражать против этого названия; и точно, теперь возражают уже немногие, так поразительны доказательства того отчуждения от действительного мира и всех начал здравого разума, в котором пребывает граф Панин. Вероятно, с ранней молодости воззрение его на жизнь и мир развивалось под влиянием какой-либо исключительной сферы, в которой он был воспитан. Какое именно воззрение окончательно образовалось в нем, — невозможно определить, потому что он никого до себя не допускает, ни в чем категорически не высказывается и окружает свою внутреннюю жизнь непроницаемой тайной; но по всем его действиям можно заключить, что это воззрение самое уродливое, какое только можно было встретить до сих пор в государственном человеке. Одно постоянно заметно в нем: какое-то тупое упрямство в самых прихотливых мнениях, какая-то догматическая вера в непогрешимость своей личности. Когда представляется вопрос: — какое решение изберет гр. Панин в данном случае, какое впечатление произведет на него то или другое действие, — почти наверное можно сказать, что решение или мнение его будет совершенно противоположно тому, чего можно ожидать на основании здравого человеческого смысла: а своего мнения гр. Панин не изменяет никогда. Мнения его бывают обыкновенно построены на основании особенной, исключительно ему только свойственной логики, которой правила

совершенно расходятся с началами мышления, общими для всего остального человечества, и потому никто не смеет возражать против его решений, как бы ни казались они нелепы: возражать можно только тогда с успехом, когда есть возможность сойтись в общих началах суждения. В первой половине служебного поприща гр. Панина это отрицательное качество не развилось еще во всей своей силе, новый министр не получил еще полной веры в себя. Его еще сдерживали некоторые самостоятельные личности, состоявшие при нем. Тогда он боялся еще возражений, уступал еще убеждениям логики и здравого смысла; директоры Д<е-партамен>та министер<ства> юстиции Данзас и Пинский нередко принуждали его отказываться от решений явно нелепых. Но с тех пор, как Пинского сменила личность Топильского, рабски преданного и рабски молчаливого, всякое противодействие и возражение стало уже невозможно; гр. Панин может назвать черным то, что представляется белым всему остальному человечеству, может в нарушение всякой правды подвергнуть стороннего, ни душой, ни телом не виноватого человека ответственности за действие, в котором он вовсе не участвовал: никто не осмелится поднять свой голос в защиту правды и здравого смысла.

Говорят, что гр. Панин человек классически образованный, что он много читает, что он имеет дар слова, и речи его в государ<ственном> совете всегда производят впечатление. Что он читает много — это до такой степени верно, что в последнюю войну⁸ дела М<инистерст>ва юстиции производились только под прикрытием его имени, в то время как сам он просиживал по целым дням, запершись в кабинете с картами и журналами, и составлял проекты об изгнании союзных войск из Крыма*. Искусство его облекать в официальные формы и в громкие слова

* Эта страсть гр. Панина к военным и стратегическим соображениям в последнюю войну сделалась в то время баснею двора и города. Вот один из рассказов, которые тогда были в ходу. Однажды, когда гр. Орлов приехал во дворец с докладом, покойный государь с гневом сказал ему: «скажи своему Панину: с чего он вздумал осматривать кронштадтские укрепления; скажи, что я не позволяю — *Qu'est-ce qu'il se mêle continuellement des affaires qui ne le regardent pas!*»⁹. Топильский побледнел от ужаса, когда Орлов в тот же день передал ему эти слова государя: «Ваше сиятельство! Граф никогда и не воображал просить такого дозволения». — Оказалось, что просился гр. Пален, но государь, слыша прежде о страсти гр. Панина к военным страстям, отнес к его лицу такую просьбу. Гр. Панин был тогда в отчаянии от ошибки и просил гр. Орлова доложить государю, что не он просился, но Орлов не решился докладывать.

пустоту содержания неудивительно, так же как и то, что многие довольствуются стройною фразой, не заботясь о духе и внутреннем смысле речи. Но во всем, что выходит из круга официальной, бумажной, кабинетной деятельности, во всем, что касается настоящего дела и жизни деятельной, — даже во всем, что относится до мира юридических отношений, в котором гр. Панин призван действовать, — неведение и неспособность его не подлежат сомнению. Он сам это чувствует, и вот, по нашему мнению, одна из причин, отчего он избегает всякого непосредственного отношения к подведомственным чиновникам, всякого объяснения с ними вне официального бумажного объяснения посредством ордеров и рапортов. Не столько боится он при этом унижить свое величие, сколько боится выказать свое невежество. Официальный прием просителей, официальное представление чиновников дают ему возможность отделаться от всего официальной фразой, официальным киванием головы. Зато всякое изустное объяснение о деле, о нуждах и потребностях службы действительной отклоняется им постоянно с непобедимым упорством. Обер-прокуроры сенатских департаментов иногда по несколько лет не видят его в глаза; иные по несколько месяцев бесплодно добиваются у него аудиенции, чтобы объяснить о необходимых делах службы; но и получив с великим трудом право предстать перед ним, возвращаются ни с чем, потому что никакого изустного, живого, откровенного объяснения гр. Панин не терпит, разве по вопросам хозяйственным и дисциплинарным. Трудно поверить, что министр юстиции систематически отказывается от всякого личного сношения с обер-прокурорами, которые непосредственно подчинены ему, от него и по закону непосредственно должны получать наставления. В Петербурге все уже давно перестали этому удивляться, но в Москве, где еще не совсем привыкли смотреть на министра как на безличный образ, многим показалось странно, что министр, приехав на коронацию, в течение двух месяцев не призвал к себе ни одного обер-прокурора, ни с одним не объяснился до последнего дня, когда все на минуту ему представились. Еще страннее было, говорят, появление его в московском сенате. Он торжественно прошел по департаментам в сопровождении Топильского и, упорно глядя вперед на одну неопределенную точку, не обратил ни малейшего внимания на обер-прокуроров, ожидавших его по департаментам, не кивнул даже никому из них головою, хотя в двух шагах от них останавливался щупать бархатную покрывку на присутственном столе, и потом с тем же бесстрастным видом, в той же торжественной процессии прошел обратно.

Но если нет возможности подчиненному лично объясниться с гр. Паниным и по делам службы, есть, может быть, средство возбудить его внимание к делу, обратить взгляд его на потребность настоятельную посредством официальной переписки? Нет. Сотни рапортов посылаются ежедневно к министру юстиции из сенатских канцелярий, от губ<ернских> прокуроров, и ни один не остается без ответа, более или менее отдаленного, но всякий ответ имеет целью только формальную очистку бумаги; ко всякой же действительной потребности, ко всякому жизненному вопросу службы министр остается глух и слеп; от всего существенного он отделяется одною обрядностью или формой; зато количество и разнообразие форм доведено им до крайней степени. В формах и ведомостях гр. Панин полагает всю сущность своего дела; каждый год является несколько фантазий его в этом роде, фантазий, доходящих до нелепости.

Случается иногда, что потребность слишком настоятельна, что вопрос слишком категорически постановлен, так что нельзя прямо отказаться от рассмотрения и разрешения. В этих случаях гр. Панин не изменяет своей обыкновенной системе: он принимает вопрос, признает потребность, заводит по нему производство — но результатом его является та же бесплодная пустая форма, так что не знаешь, чему более дивиться — бесстыдству ли или нелепости решения. Так однажды, конечно, вследствие какого-нибудь громкого дела, внимание гр. Панина обращено было на разнообразие решений в департаментах сената по делам, совершенно однородным. Разнообразие это действительно доходило до юридического соблазна: надобно было очистить эту статью, сделать что-нибудь. Что же сделал гр. Панин? Он приказал в каждом д<епартамен>те сената составлять понедельные списки делам, назначенным к докладу, и пересылать их из одного д<епартамен>та в другой с тем, чтобы обер-секретари их прочитывали. Можно представить себе, какие толстые тетради образовались из этих списков, на которых обер-секретари должны были не читая отмечать: читал. В этих списках дела обозначались таким образом: дело Петрова с Ивановым, о доме; дело Сергеева об убийстве и т. п. Очевидно, из этого обозначения никто не мог получить понятия о существе вопроса, подлежавшего разрешению, и составление списков едва ли уже не прекратилось само собою. В другой раз прошла молва, что гр. Панин велел собрать все мнения госуд<арственного> совета, состоявшиеся по делам сенатским; по архивам петербургским и московским разосланы были чиновники собирать и выписывать. Иные желали исполнить дело свое добросовестно, извлекли из каждого дела точное

содержание вопроса, который получил разрешение. Что ж явилось результатом труда? Две толстые книги, в которых все содержание дела отброшено было в сторону, а остались одни немые списки с означением имен и чисел. В 1856 году, по смерти императора Николая, поднялись толки о гласности; говорили, что новый государь открыто заявил свое расположение к ней и советовал особенно гр. Панину быть доступнее. Как же отразилась на гр. Панине новая идея о гласности действий и о доступности правительственных лиц? Он приказал на некоторое время печатать в сенатских ведомостях списки поданных ему жалоб с кратким обозначением предварительных его распоряжений и объявил во всех газетах, что в такие-то дни и в такие-то часы министр принимает просителей, имеющих до него нужду. Всякая действительная потребность как будто недоступна гр. Панину или отражается в сознании его так бледно и бесцветно, как в сознании поврежденного человека. С понятием о человеке государственном привыкли соединять и воззрения более или менее широкие, государственные; но воззрения гр. Панина на самый важный государст<венный> предмет суживаются до нелепости: меры, принимаемые им в таком случае, до невероятности дики. Если б они подлежали гласности, — то давно подвергли бы его публичному осмеянию; если б все знали о них, для гр. Панина давно уже стало бы невозможно оставаться министром юстиции; но все эти распоряжения покрыты канцелярской тайной, и только масса чиновников втихомолку над ними смеется. Произвольно ли напускает на себя эту дурь министр юстиции для того, чтобы скрыть под маскою ребяческого воззрения крайнюю политическую недобросовестность, или действительно высказывает свои убеждения, следует своим взглядам, — во всяком случае осмысленнее его управление министер<ством> юстиции сделалось фактом тяжким, невыносимым, нелепым. Многие распоряжения министра напоминают басню о глупом ребенке, хотевшем вычерпать море чашкою. Случается, что мысль гр. Панина бывает поражена каким-нибудь событием, в котором он видит вред для службы или нарушение закона: в таком случае иногда считает он нужным принять по своему министерству общую меру для предупреждения злоупотреблений на будущее время; составляется и рассылается циркулярное предписание, — но в этих циркулярах никто не отыскал еще до сих пор живой мысли, меры практической. Огромное собрание циркуляров гр. Панина будет служить для будущего историка документальным доказательством того, до каких ребяческих распоряжений мог дойти дух формализма в России в одном из самых крайних его пред-

ставителей. К счастью, ордера гр. Панина, явно нелепые или вовсе неисполнимые, только помечаются в канцеляриях и остаются без всякого действия: что ж было бы еще, если б ревность подведомственных чиновников дошла до буквального исполнения всего, что приказывает Панин? Примеров множество и всех не перечтешь.

В 1843 году в одном из департаментов Сената был определен канцелярским чиновником отставной офицер, оказавшийся впоследствии беглым рядовым: случай, который возможен потому, что везде возможно мошенничество и составление фальшивых видов или актов. Но в сознании графа Панина это событие приняло вид явления, вредного для государственной службы, которое может быть предупреждено общемою мерой: и вот гр. Панин предписывает циркулярно — не представлять никого из отставных к определению на службу без сношения с лицами, от коих выдан последний аттестат, для удостоверения в подлинности сего документа и в тождестве лица; то есть — для определения, например, в службу в Петербург лица, получившего отставку в Петропавловском порте, должно заводить переписку с Камчаткою и оставляя вакансию не замещенною, ждать целый год ответа, которого никто не может дать, потому что заглазно нельзя удостоверить тождество личности; предписание это едва ли отменено с 1843 года, но, к счастью, почти никто не исполнял его. Случилось, что у столоначальника пропало дело: граф Панин выпускает целый ряд распоряжений, и в том числе, например, предписывает не увольнять никого в отпуск без формальной сдачи дел: неразумность этого распоряжения понятна тому, кто знает, что отпуск дается иногда на несколько дней, а сдача дел в судебных местах продолжается по несколько месяцев. Разумеется, что и этот ордер остался без исполнения. В другой раз гр. Панина поразила мысль о том, что некоторые молодые люди, обязанные срочною службой по министерству юстиции, уехав за границу, остаются там долее срока, и таким образом «привыкают к жизни бесплодной и праздною, неприличной для русского дворянина». И вот он издает целый ряд формальных постановлений, предписывая сначала не представлять к увольнению в отпуск за границу никого, кто не прослужил бы 5 лет, потом, — кто не дослужился до секретарской (почему ж именно секретарской?) должности; наконец, кто прослужил менее 10 лет, кроме случаев опасной болезни, о чем будет делано по распоряжению министра особое освидетельствование. Заметим здесь, что порядок увольнения в отпуск определен законом, действие которого министр не смел стеснять и ограничивать.

Безнравственные поступки чиновников — явление совсем не редкое; но в 1852 году гр. Панин был поражен тем, что «один из чиновников вверенного ему м<инистерст>ва обнаружился в безнравственном поступке». Тотчас в голове его родилась мысль о том, что при строгом наблюдении со стороны начальства не должно было бы даже в частной жизни чиновников случаться безнравственных поступков; не раз уже в других случаях он поставлял на вид начальникам, что им «должны быть известны обстоятельства, касающиеся образа жизни служащих под ведомством их чиновников». И вот, по распоряжению его сиятельства, каждому непосредственному начальнику циркулярно вменяется в обязанность доносить своему начальству о всех известных ему случаях, навлекающих нареkanie на кого-нибудь из подчиненных, или о тех обстоятельствах, кои возбуждают подозрение о противозаконном поступке. К счастью, начальники большею частью нашли для себя неудобным присоединить к другим своим официальным обязанностям обязанность официального доносчика, следящего за домашним поведением подчиненных.

Однажды показалось гр. Панину, что в Москве канцелярские материалы слишком дорого покупаются, и он приказал прекратить подряды на них в д<епартамен>тах сената, а всю бумагу и прочие принадлежности присылать в Москву из Петербурга! Что же вышло? Начали присылать из Петербурга бумагу с фабрик замосковных, бумагу, которую надобно было за 60 верст привезти в Москву, доставить оттуда к купцам в Петербург, поставить подрядом в министерство юстиции и оттуда обратно прислать в Москву, — где, как слышно, не знают иногда, на чем писать в ожидании новой присылки. Подобной нелепости мы не могли бы уже поверить, если б не знали о ней положительно из самого достоверного источника. Вообще, невозможно исчислить все безумные распоряжения гр. Панина; но вот еще одно из них. Пришла ему мысль, что в сенатских записках по делам необходимо помещать в подлиннике все документы, писанные на иностранных языках, хотя по закону при всяком подобном подлиннике должен быть представлен к делу засвидетельствованный перевод. Немедленно разосланы были повсеместные циркуляры без всякого соображения о том, что для исполнения ордера пришлось бы завести в каждом д<епартамен>те писцов, знающих не только все европейские, но и восточные языки. Ордер этот, конечно, остался неисполнимым относительно последних. Но главное затруднение возникло при печатании записок, потому что в сенатской типографии не оказалось ни необходимых иностранных литер, ни знающих корректоров. Таким образом для исполнения прихоти графа Панина приказано было однажды в Петер-

бурге записку, наполненную документами на английском языке, печатать в частной типографии, и за напечатание было заплачено более 1000 рублей серебром.

Все вопросы, возникающие из действительной жизни и имеющие практическую цель, систематически уничтожаются и тушатся гр. Паниным. Возникает ли в сенате по частному делу вопрос законодательный, — гр. Панин дает ему ход, если он принадлежит к области формальностей; но если это живой вопрос гражданского или уголовного права, — нет ему пощады. Гр. Панин находит в таком случае или что возбуждение вопроса было бы неудобно, или что лучше отложить его до предбудущего решения другого вопроса, или что следует предоставить его II Отделению Собствен<ной> Е. И. В. Канцелярии¹⁰, составляющему будто бы неведомо где, как и на каких основаниях неведомо какие правила... Известно, сколько раз возбуждался в наших законодательных лабораториях вопрос о сокращении переписки — этой язвы, разъедающей Россию. Граф Панин всякий раз встает в ряды защитников старого беспорядка, и его-то ухищрениям следует, между прочим, приписать то замечательное явление, что наша переписка всякий раз умножается и расплывается после издания новых правил о сокращении переписки. Непрямым путем гр. Панин с компанией подобных себе достигает того, что отвергаются все самые естественные способы упрощения и под видом сокращения переписки вводятся новые формы. В м<инистерст>ве юстиции должен сохраняться и теперь еще целый архив записок и замечаний по этому предмету, дельных и практичеких, доставленных подведомственными местами и лицами и оставленных без всякого рассмотрения и огласки. Последняя и самая плачевная попытка к сокращению переписки разрешилась известным положением 1850 года, в котором желающий может найти очевидное доказательство совершенной неспособности законодательных органов наших к практическому делу. В особом комитете, учрежденном тогда для изыскания способов к упрощению производства, возник весьма важный вопрос об освобождении судебных мест от бесполезной и обременительной обязанности подтверждать и наблюдать за исполнением своих решений. Эта благодетельная мысль была принята почти всеми членами, и в таком смысле состоялся окончательный проект. Граф Панин вооружился против него всею силой своей диалектики, но, не успев подействовать на убеждение членов, избрал другое средство, более действительное. В записке, составленной «ad hoc»¹¹ и представленной государю, он постарался указать на какое-то возмутительное революционное начало, скры-

вающееся в проекте. Такого ловкого внушения было, конечно, достаточно для того, чтобы подействовать на Николая, и предложенная реформа не состоялась. Вот какие средства употребляет министр юстиции для достижения своих любимых целей! Мудрено ли, что покойный государь думал видеть в нем одну из опор престола, всегда читая на лбу его ту же обманчивую надпись: «Всею душою предан», которую по вековому преданию всех временщиков выбрал некогда своим девизом один из самых жестоких мучителей России. В сентябре 1857 года к отраде всех людей благонамеренных «Русским вестником»¹² поднят был вопрос об устности и гласности судопроизводства в России, а в ноябре от цензурного управления последовало запрещение печатать статьи об этом вопросе. Запрещение состоялось вследствие всеподданнейшей записки, поданной гр. Паниным. Говорят, что в этой записке он заранее указывает в публичном судопроизводстве зародыш беспорядков общественных и возмутительного духа.

Природе гр. Панина противна всякая самостоятельность суждения, противно всякое живое слово, о чем бы ни рассуждало оно, где бы ни раздавалось. Николаевская цензура казалась еще ему слишком вольною. Осенью 1854 года появилась в «Москвитяине»¹³ статейка о бывшем министре юстиции Дашкове. Автор, перечисляя на двух страницах все положительные качества, выставил в параллель целый ряд отрицательных, дурных качеств, которых у Дашкова не было: в этих последних качествах читателю, знакомому с делом, нетрудно было узнать ловко подобранные черты гр. Панина; прочтя статью, гр. Панин рассердился на журнал и захотел отомстить ему. В последнем отделе той же книжки заметил он какую-то ничтожную повесть и, выбрав из нее в особую записку с примечаниями несколько фраз, силился поднять из-за них гонения на «Москвитянина» в главном управлении цензуры. Гроза прошла мимо, но редактор должен был ездить в Петербург для объяснения. Подобные проделки гр. Панина повторялись не раз; еще недавно по поводу статей Павлова и Шедрина в «Русском вестнике» составлял он новые всеподданнейшие записки, но на этот раз ему не удалось, и не он торжествовал победу.

Известно, что устройство судов в России находится на низкой степени, что все суды у нас в жалком положении. Необходимость реформы в этом отношении становится с каждым днем ощутительнее, требование общего мнения — настоятельнее; понятно, что по характеру гр. Панина невозможно и ожидать от него ни малейшего движения к реформе. Всеми силами своими держится он за существующий почти хаотический беспорядок,

и это инстинктивное стремление к удержанию беспорядка весьма естественно, потому что только беспорядку, только отсутствию света и разумных начал должно приписать то, что Панин доныне остается министром юстиции; всякий луч света, допущенный в храм нашего правосудия, осветил бы прежде всего личность Панина и тотчас же сделал бы нестерпимым, невозможным дальнейшее существование такого министра. Понятно, что гр. Панин не терпит света, противодействует всякой гласности, отвергает законность живой речи, словесного объяснения на суде. Но умственная и нравственная его неподвижность простирается еще далее: каково бы ни было устройство суда, — позволительно требовать, чтобы по крайней мере были у него средства к материальной деятельности, средства механические. Разве только безумный хозяин стал бы требовать исправной работы, не давая работникам пищи и орудий. Таково положение почти всех судов наших: запутанные громадною перепиской, заваленные делами, с каждым годом прибывающими, они не имеют физической возможности, материальных средств оканчивать дела свои; канцелярии не имеют рук для того, чтобы переписать и половину бумаг своих, наполнены безграмотными, невежественными писцами, получающими в месяц по несколько рублей жалованья, определяемого между ними по усмотрению председателей. Многие палаты несколько раз представляли министру о том, что нет возможности производить дела, что вся машина расстроилась и должна остановиться, с отчаянием требовали помощи и снисхождения министра.

Что же? Министр остается слеп, глух и нем ко всем представлениям и воплям. Он положил в уме своем такое мнение, что все должно идти своим порядком, и ни за что на свете не отступит от этого мнения. Что ему за дело до того, как делаются дела, какие постановляются решения, какими средствами производится письменная работа: лишь бы очищались бумаги и сводились итоги. Все в России знают, например, что ни одна гражд<анская> палата не могла бы продолжать существования при помощи своих средств, если б не поддерживалась выкупом за право ничего не делать от купеческих заседателей да незаконными поборами с просителей в крепостной экспедиции¹⁴. Не на чем было бы писать, потому что в иных палатах канцелярской суммы не достало бы и на десятую часть всей бумаги, которая употребляется в дело. Где крепостная часть дает большие доходы чиновникам, там материальные средства в исправности, потому что чиновники устраивают их из своих доходов; где по местным обстоятельствам доходы крепостной экспедиции не так значительны, там и

палата не имеет возможности поддержать себя. Гр. Панин знает это — и упорно молчит на все представления палат или делает им замечания *за неуместность представления*. В уездных судах это нищенство еще поразительнее. Но что говорить о низших инстанциях, когда в сенате, канцелярия которого состоит под непосредственным надзором министерства, встречаются явления еще более поразительные. Количество дел и переписки умножается с каждым годом в страшной прогрессии, а средства остаются те же в течение нескольких десятилетий. Достаточно сказать, что каждый столоначальник имеет в распоряжении по своему повытью трех писцов; но количество исписанной бумаги в каждом повыте считается ежегодно тысячами, а в некоторых десятками тысяч листов; нередко встречаются по одному делу записки в несколько тысяч листов. Нет физической возможности повытью исправить всю эту страшную работу собственными средствами. Что же делается? В Петербурге обыкновенно предпочитают ждать или отделяться формами, очередью, справками и показывать все дела решенными к концу года, изредка нанимать вольных писцов; понятно, что никто не имеет средства и не хочет исправлять казенное дело из собственного кармана. Иная система, как мы знаем из достоверных источников, принята в Москве, в гражданских департаментах сената. Там издавна повелось, что столоначальник приготовляет записку ко дню доклада; и записки приготовляются или на счет просителей, или из собственных средств столоначальника, если он человек молодой, не умеющий брать деньги от просителей. Для этой цели при каждой канцелярии существует еще особая канцелярия вольнонаемных писцов, без сомнения, исписывающая впятеро более казенной бумаги, нежели писцы штатные. Таким образом, столоначальник гражд<анского> департамента истрачивает ежемесячно на наем писцов от 5 до 25 и более рублей серебром; а в иных повытьях эта трата доходит круглым числом до 15 руб<лей> сер<ебром> в месяц, если часто случаются толстые записки. Не надо забывать при этом, что столоначальник получает в месяц всего 25 р. * жалованья. Ясно, что такой обычай — стыд для правосудия, стыд особенно для верховного суда; стыд всего более для министра юстиции, который о нем знает.

Несколько лет тому назад один из обер-прокуроров решился представить министру о необходимости прекратить такое положение. На это мин<истр> юст<иции> отвечал, что переписка бумаг на счет самых чиновников не должна быть допускаема, но

* См. оклады.

не дал и действительного средства прекратить зло. Гр. Панин не подумал о причинах зла и о средствах привести канцелярию в нормальное положение; он указал на возможность вспоможения со стороны казны, но по обычаю своему превратил и это вспоможение в мертвую форму; именно, он постановил, что вольным писцам ни под каким видом не должно быть платимо 3 коп. за лист, — тогда как ни один писец не берет дешевле 5-ти, дозволил входить с представлениями о пособии на переписку только в определенные сроки и при каждом представлении прилагать подробные ведомости о том, сколько и каким именно писцом штатным переписано листов бумаги в течение двух лет до представления, и сколько листов переписывано писцами наемными; такие ведомости, по распоряжению его, должны вестись у каждого столоначальника понеделно: явное намерение затруднить в последней степени нелепою ведомостью всякую просьбу о пособии.

Было бы продолжительное и скучно рассказывать в подробности плачевную историю всех представлений, касавшихся самых настоятельных канцелярских потребностей. Не так давно, говорят, в московском сенате доходило до того, что иные чиновники держали чернила в помадных банках за неимением чернильниц, сидели на старых бумагах и на связанных брусках за неимением стульев; бархат на столе в самом присутствии висел в лохмотьях. Несколько лет тянулись представления, составлялись и распускались комитеты для устройства новой мебели; наконец, велено было починить прежнюю, существовавшую с незапамятных времен.

Разногласие, существующее в нашем управлении, бывает причиною того, что один министр может вмешаться в дела другого, закрывая себя высочайшим поведением. Случается, что по делам м<инистерст>ва юстиции Танеев объявляет высочайшее решение, основанное на данных неверных или на докладе неправильном. Редко случается, чтобы гр. Панин решился объяснить государю ошибку или представить о невозможности исполнения. Однажды покойный император по докладу Танеева заметил, что в сенате остается много нерешенных дел, рассердился, велел потребовать объяснение от обер-прокуроров и потом объявить им замечание. Цифра нерешенных дел, выставленная в ведомостях, действительно была велика, но оказалось, что все эти дела оставались нерешенными за неокончанием апелляционных сроков, следовательно, по закону не могли быть предложены к решению. Что же? Гр. Панин вместо того, чтобы доложить государю об ошибке, происшедшей от явного недоразумения или невеже-

ства Танеева, не постыдился дать обер-прокурорам предписания в том смысле, как будто бы медленность зависела от сената.

В последние тридцать лет кроме кабинетной юстиции у нас развилось и кабинетное законодательство: каждый министр был органом его и вносил свою долю в общую массу законов, обращавшихся прямо в закон самого высочайшего повеления. Гр. Панин со своей стороны не оставался в бездействии, и по его докладным запискам прибавилось несколько статей в своде законов; один из таких законов, изданных гр. Паниным, весьма замечателен как образец юридического неведения или совершенного неуважения к существенным началам гражданского права. Некоторые из сенатских чиновников занимались открыто ходатайством по частным делам, производившимся в других присутственных местах; закон не запрещал такого ходатайства, следовательно, оно не могло быть признано незаконным или несовместным со званием чиновника. Гр. Панин всегда смотрел косо на таких чиновников; несколько раз циркулярами своими положительно запрещал сенатским чиновникам принимать на себя ходатайство по делам и наконец распорядился вовсе уволить от службы тех, которые, считая себя вправе по закону, не стеснялись личным его распоряжением. Запретительного закона в самом деле не было; надобно было его сделать. Гр. Панин решился мимо государственного совета испросить высочайшее повеление, чтобы всем чиновникам канцелярии сената запрещено было принимать ходатайство в каком бы то ни было месте или ведомстве по частным делам. Такое постановление могло еще быть объяснено какими-нибудь служебными соображениями; но одним только этим ограничением гр. Панин не довольствовался. Высочайшее повеление, превратившееся в закон и вошедшее в состав 16-го продолжения к 10-му тому, гласит еще, что сенатские чиновники, кроме обер-прокуроров, и *по своим собственным делам* в каком бы то ни было месте могут ходатайствовать не иначе как по письменному разрешению своего начальства. Здесь неуважение к личным гражданским правам частных лиц доходит уже до нелепости: по одному докладу министра, без всякого рассуждения целый класс людей в государстве лишен такого права, без которого нельзя себе представить гражданского общества, — права обращаться к установленным властям с просьбою о защите, права отыскивать и защищать свое имущество. Всякий сенатский чиновник по закону сделался лицом беззащитным, лишенным значительной части общих прав состояния. У него отняли имение, его ограбили или обокрали: он не имеет права жаловаться или просить о защите до тех пор,

пока получит письменное разрешение начальства; разрешение может иногда замедлиться на неопределенное время, если зависит от министерства; а между тем просьба обиженного по закону не может быть нигде принята, время проходит, случай возвратить отнятое или обеспечить свое право теряется невозвратно; если же бы чиновник, не дождавшись разрешения, успел подать свою просьбу, то по указанию противной стороны такая просьба должна быть признана недействительною. Вот до какого нелепого явления доходило в России кабинетное законодательство в 1851 году: закон этот и доныне существует во всей силе.

Иные отличают гр. Панина от прочих министров, называя его «честным». И точно, не слышать, чтоб он брал взятки.

Да и трудно представить взяточником человека, имеющего более 10 000 душ. Но если разуместь честность в смысле добросовестности и благородства духа, то уже по указанным примерам можно судить, какого рода честность у гр. Панина. Честность властолюбца, не знающего пределов произволу в кругу своем, честность царедворца, извлекающего нравственные свои правила из придворной жизни, честность гордого эгоиста, который только в лице своем достигает до ясного понятия о человеческом достоинстве. Стоит только перейти в высшую сферу, где сосредоточены все консервативные интересы гр. Панина, чтобы видеть, как здесь становится податлива неподкупная совесть гр. Панина. В этой высшей сфере витают гр. Орловы, Адлерберги и им подобные, все те, кого *признает* гр. Панин; здесь витают *постоянно* высочайшие особы и *временно* все те, на которых по случаю падает их высочайшее внимание или внимание тех, кого *признает* гр. Панин. Здесь-то в особенности становится очевидно, до какой степени министр юстиции «всею душою предан» своему высочайшему кругу. Бывали случаи, что человек, которого презирал и даже преследовал гр. Панин, вдруг становился в глазах его почтенным, как скоро гр. Панин узнавал, что им интересуется выс<очайшая> особа.

Гр. Панин упорно верует в законность своих действий, ибо, повторяем, вера в собственную непогрешимость сделалась у него почти догматом; поэтому всякий каприз свой, всякое желание он ставит правилом для всех и не признает никаких возражений. Мало того: гр. Панин по принципу не признает за собою в отношении к другим никакой обязанности, за другими в отношении к себе никакого права. Беда тому, кто имел случай одолжить чем-нибудь гр. Панина или его наследников, если они напомним гр. Панину о сделанном одолжении.

Притом возможно ли, чтобы натура прямая и честная допустила подле себя и в отношениях к себе такое полнейшее унич-

тожение человеческой личности, какое гр. Панин допускает в Топильском. Оградить себя неприступною стеной от сообщения со всем подчиненным человечеством, считать всех, кроме некоторых избранников, существами низшей породы, чуждыми, несочувственными, общаться со всеми подчиненными только чрез посредство одного приближенного человека, и в этом человеке, в директоре департамента министерства юстиции, создать себе домашнего управителя, комиссионера, лакея, награждая его за личные услуги как за заслуги государственные, — воля ваша — это свойственно только натуре или не разумно-человеческой, или лишенной нравственного самоуважения. Отношения Топильского к Панину сделались баснею целой России, из анекдотов о них составила целая эпопея или, вернее сказать, целая кукольная комедия; но эти отношения и в психологическом отношении любопытны и поучительны. Личность Топильского делается достоянием истории русского общества: Топильского не вправе уже забыть будущий историк, когда станет говорить о Панине. Обе эти личности неразрывно связаны между собою: Топильский — добровольный мученик рабства, но и мученик честолюбия. Кто знает его близко, тот знает, что и ему недаром досталось самоуничужение перед владыкой. Он продал гр. Панину свою душу, но как еврей, постоянно жалеющий о том, что продал слишком дешево, а купил слишком дорого, Топильский тайно протестует против своего договора и против своего владыки. Нет, кажется, той услуги, которую не принял бы на себя этот человек при особе гр. Панина: на ней сосредоточены все его интересы; он знает и обдeldывает все домашние дела его, ездит за покупками для него, для жены и детей, для слуг его, смотрит за отделкою дома, за порядком в комнатах; каждую минуту «всей душою предан» и каждую минуту дрожит перед своим властелином. Это не старый слуга, дошедший до некоторой короткости с своим господином, разделяющий домашнюю жизнь и домашние интересы, бойкий на язык и получивший некоторые права подле барина, некоторое на него влияние: нет, это безличный, бесправный раб, постоянно под гнетом сурового деспота, всегда в почтительном от него отдалении, раб, готовый на все по приказанию господина, евнух, отказавшийся от всех жизненных наслаждений ввиду господского гарема, — всегда с петлею в руках для того, на кого ему укажут, и сам готовый лезть в петлю по первому приказанию, но в то же время раб с глубокою затаенною ненавистью к ежечасному своему мучителю; со всегдашним ропотом в душе, который высказывает всюду, где нет поблизости господина. В то же время с завистью смотрит он на всякого,

на кого господин его бросил ласковый или внимательный взгляд, на всякого, в ком подозревает намерение приблизиться к гр. Панину. Беда этому человеку, если подозрение Топильского подтвердится; никаких усилий не пощадит он для того, чтобы отбросить в сторону всякого, кто мимо него находит себе дорогу к гр. Панину. Немилость министра к некоторым чиновникам, которых он отличал прежде, объясняется именно тайными внушениями Топильского, которым никто противодействовать не может, потому что никто мимо Топильского не имеет средств объясниться с гр. Паниным. Таким образом, Топильскому одолжен граф Панин частью своей печальной известности. Мы сказали, что Топильский за спиной гр. Панина не упускает случая бранить его и жаловаться на судьбу свою.

Разумеется, никогда еще не слышал гр. Панин от Топильского ничего похожего на совет или возражение: что сказал гр. Панин, то для Топильского свято; что его сиятельство назвал черным, того никто не смей назвать белым, хотя бы все человечество было такого мнения; если гр. Панин сказал, что $2 \times 2 = 5$, то пусть это будет непреложною истиной. И такого человека гр. Панин, как слышно, готовит сначала в товарищи себе, а после себя в министры юстиции: прекрасная будущность для русского правосудия!

Тот же дух раболепства перед министром более или менее распространяется на всех чиновников департамента м<инистерства> ю<стиции>. Все привыкают уничтожаться перед графом Паниным, когда находятся в его присутствии: о Топильском и говорить нечего. Он стоит перед графом в вытяжку, как рядовой, руки по швам; усерднейшие из обер-прокуроров стараются подражать той же позе. Илличевский (товарищ министра) смотрит на Панина с умилением, с нежной почтительной улыбкой; многие оттого только сделались любимцами гр. Панина, что принимали перед ним вид благоговения или страха и молчали. Зато беда, если в своем чиновнике гр. Панин заметит осанку свободную: министр почтет его за вольнодумца и не даст ему покоя. Так, одного из губернских чиновников гр. Панин почел за возмутителя и буяна потому только, что, представляясь ему, чиновник этот отвел руку с шляпою за спину: тотчас же дано было приказание иметь его на замечании и перевести в другую губернию при первом случае. Мы говорим об осанке: тем более сердится гр. Панин за неугодлиность чиновника.

Можно себе представить при таком нравственном воззрении, при такой обстановке, какого правосудия, какой правды можно ожидать от нашего министра юстиции. Для того, чтобы рассу-

дить по правде, надобен здравый смысл, необходимо ясное сознание того различия, которое существует между добром и злом, между правдою и неправдою. Но чтобы понятие о правде могло ясно отразиться в сознании, необходимо прямое непосредственное отношение сознающего к сознаваемому, а гр. Панин обо всяком предмете судит посредством особой, ему только свойственной логики, ко всякой личности, состоящей под его ведением, относится только посредством Топильского. Когда в голове гр. Панина возникает вопрос: «Кто виноват?» — виноватый должен быть, хотя б и вины не было. Никакие доказательства, самые осязательные и очевидные, не устоят против того, что решил гр. Панин и что подтвердит, конечно, Топильский. Если же, по несчастью, чиновник подвергся неудовольствию государя или сильного лица, то гр. Панин никогда не защитит его, как бы ясна ни оказалась его невиновность. Вот два случая для примера. Манифест о начатии восточной войны с союзниками не был своевременно доставлен к покойному императору и попал к нему в руки тогда уже, когда печатные экземпляры явились при дворе и в публике. Государь рассердился и в первом порыве приказал посадить на гауптвахту правителя канцелярии министрства юстиции Мансурова. Оказалось, что Мансуров ни в чем не нарушил своей обязанности и, получив манифест из типографии, не медля ни минуты, сдал его курьеру для доставления во дворец. Упущение произошло единственно по вине курьера. Что же сделал гр. Панин? Он не только не осмелился обнаружить перед государем невинность Мансурова, но за то, что он навлек на себя замечание государя, счел нужным обратиться на Мансурова весь гнев свой: он немедленно донес государю, что сделал распоряжение об увольнении Мансурова от должности. Уверяют, что государь, получив такое донесение гр. Панина, не мог удержаться от восклицания: «Какой подлец!» А Мансуров все-таки был уволен, в. к. Константин Николаевич в тот же день дал ему место в морском министерстве*.

Другой случай не менее замечателен. В декабре 1856 года гр. Панин предложил С.-Петербургскому общему собранию Се-

* Любопытно заметить, что тонкою пружиною в этом деле был и Топильский. Мансуров давно уже сделался ему ненавистен потому, что гр. Панин заметно отличал Мансурова, приглашал его несколько раз к обеду, в ложу к себе и т. под., чего не делал с Топильским. Топильский воспользовался первым случаем, чтобы отстранить его и не дать ему подняться... Когда Мансуров с гауптвахты послал гр. Панину оправдательное письмо, Топильский не допустил этого письма до гр. Панина.

ната к исполнению высочайше утвержденное мнение госуд<ар- ственного> совета о дополнении и изменении некоторых правил о порядке совершения записки на увольнение помещичьих крестьян в звание государственных, водворенных на собственных землях. Сенат по принятому порядку заключил: для приведения сего мнения во всеобщую известность послать куда следует указы и ведения и припечатать в собрании указов, издаваемом при сенате, о чем конторе сенатской типографии дать известие. При составлении и исполнении этого заключения соблюдены были все установленные формы: оно было читано министром юстиции и пропущено им к исполнению. Типография, получив известие, напечатала указы; один экземпляр был препровожден обер-прокурору I-го департамента, который, отметив на нем: к обнародованию, представил его гр. Панину, который написал сверху: обнародовать. Часть напечатанных указов была разослана; другая поступила в сенатскую книжную лавку для продажи; оставалось напечатать указ в сенатских ведомостях. Со времени коронации в народе распространился слух о намерении государя уничтожить крепостное состояние, и помещичьи крестьяне ожидали указа о свободе. Вдруг пронесся слух, что указ вышел и продается в сенатской книжной лавке. Число покупателей стало ежеминутно увеличиваться и около лавки образовалась огромная толпа народа. Обер-прокурор I-го д<епартамен>та признал нужным уведомить об этом Топильского, который, вследствие приказа- ния гр. Панина, велел закрыть лавку и прекратить продажу указа. Директор типографии Рогге доложил Топильскому, что этот указ должен быть помещен в ведомостях следующего дня. По порядку, издавна существующему, один экземпляр каждого номера сенатских ведомостей накануне посылается в канцелярию министра юстиции, будто бы для прочтения, и по возвращении в типографию печатаются остальные экземпляры и рассылаются. Топильский приказал Рогге для большей осторожности вложить в этот экземпляр записочку о том, что в этом номере ведомостей находится указ о порядке совершения записей и пр., для того, чтобы правитель канцелярии в случае сомнения обратил на это обстоятельство внимание графа. Рогге в точности исполнил это приказание, но номер был возвращен без замечаний и указ напечатан в сенатских ведомостях.

На следующий день в комитете министров говорили, что государь опасается, чтобы указ не произвел дурного впечатления на народ в губерниях. Гр. Панин объяснил, что опасаться нечего, потому что он остановил обнародование указа. Когда он узнал, что указ помещен в сен<атских> вед<омостях>, бешенство

его не знало границ. Он приказал Топильскому отыскать виновного. Виновного и вины не было, и гр. Панин не мог без нарушения коренного закона и своих обязанностей остановить исполнение определения сената, им самим пропущенного к исполнению. Но в министерстве юст<иции> стоит выше всех законов правило, что гр. Панин не может ошибаться. Он сказал, что есть виновный, след<овательно>, надобно сыскать виновного. Топильский придрался к тому, что в записке, приложенной к пробному номеру ведомостей, Рогге не поместил, что она прилагается по приказанию «его превосходительства» и что от этого упущения правитель канцелярии не обратил на нее внимания. Рогге был признан виновным и, несмотря на свои оправдания, по приказанию гр. Панина должен был оставить место, которое занимал в продолжении нескольких лет с отличием.

Должность генерал-прокурора бесспорно самая важная должность в внутреннем управлении империи. В лице его сходятся все пружины государственного надзора за исполнением законов: к нему обращаются все донесения губернских прокуроров; он преследует все дела безгласные, не имеющие истца; он один дает предложения сенату и в самом сенате наблюдает за правильным и беспристрастным применением закона; генерал-прокурор должен вступать в борьбу с беззаконием, где бы оно ни проявилось, кто бы ни выставлял себя его защитником. Понятно, какую твердость характера, какую самостоятельность мнений должен иметь он, сталкиваясь ежедневно с личными желаниями и побуждениями первых особ в государстве, с своекорыстием и самовластием частных и правительственных лиц. Никто не должен быть ближе его к доверию монарха, потому что он по призванию своему имеет тем более врагов, чем добросовестнее действует в защиту закона: «чин его зело ненавистен», по выражению Петра Великого; он должен быть не только ненавистен, но и страшен всякому нарушителю закона, кто б ни был, на какой бы ступени управления ни стоял этот нарушитель. Трудно, почти невозможно одному человеку вынести такую борьбу со всеми высшими и нижними нечистыми силами; кто хочет выдержать ее с успехом, действуя только от своего лица, тот необходимо вынужден будет действовать посредством насилия и самовластия, то есть под видом заботы о соблюдении закона непрестанно станет нарушать его: это было бы противно самому существу правды и закона; при таких условиях скоро чин генерал-прокурора сделался бы ненавистен всем одинаково: честным людям столько же, сколько и врагам порядка. По существу своего звания, генерал-прокурор может действовать с успехом в пользу закона не своим ли-

цом, не посредством личного управления, а посредством сената, с которым составляет нераздельное целое. Отделив себя от сената, он лишится всей своей силы и скоро должен будет или отказаться от борьбы с личностями, или сделаться уклончивым угодником лиц и обстоятельств: тогда генерал-прокурор станет наравне со всеми министрами и спасительный надзор за исполнением закона превратится в механическую бумажную работу, производимую от имени министра начальниками отделения и столоначальниками департамента. Этого, кажется, не поняли или не хотели понять те, по чьему внушению должность генерал-прокурора соединена была с должностью министра юстиции. Не поняли того, что суд не может и не должен состоять под ведением никакого министерства, а должен составлять в государстве власть особую, независимую, для того, чтобы мог соответствовать своему назначению, что генерал-прокурор должен быть лицо единственное в государстве, совершенно отдельное и независимое от министров, заведывающих разными частями управления. Ошибка сделана была важная, и еще в то время опытный взгляд госуд<арственного> человека мог предвидеть, что два медведя в одной берлоге не уживутся, министр юстиции поглотит генерал-прокурора, сенат, лишившись действительного генерал-прокурора, приобретет себе врага в министре юстиции, и надзор за исполнением законов превратится в бумажное канцелярское дело, в министерскую игру, в политическую сделку разных властей между собою.

Так и случилось: первые министры юстиции были еще воспитаны на преданиях прежнего времени: они еще дорожили сколько-нибудь внутренним значением генерал-прокурорской власти, ценили еще ту нравственную силу, которую давала им неразрывная связь генер<ал>-прокурора с сенатом, видели еще во власти сенатской вернейшее обеспечение своей собственной власти. Но к несчастью России утвердился на министерстве юстиции гр. Панин, человек, воспитавшийся в отчуждении от практической жизни, незнакомый с духом прежних учреждений России, без твердых понятий о сущности нового своего звания и об интересах отечества, с которыми никогда не имел живой нравственной связи *. По тем чертам его характера и направления, на которые мы указали, было можно судить, какие понятия о правде и законности внес он с собою в свое министерство. Такой эгоистической исключительной натуре, какова натура гр. Панина, свойственны только узкие, мелкие взгляды царедворца и чинов-

* Молодость свою гр. Панин провел вне России.

ника: взгляды широкие, виды государственные, для пса недоступны. Без всякой идеи о равновесии властей государственных, гр. Панин одно только имеет в виду, об одном заботится — о том, как бы поддержать свою власть, как бы приурочить к своей личности все органы судебной власти и все ее силы сосредоточить на одном себе. Развиваясь далее и далее в одном только этом направлении, он дошел наконец до какого-то фанатического верования в себя, в свою непогрешимость, в свое величие; удалясь от живых людей и от живого дела в какое-то святилище, ни для кого недоступное, он оттуда управляет своим министерством посредством мертвых бумаг, ордеров и ведомостей. Вся сила его в неподвижности и безгласности, которую отстаивает он, как мы видели, всеми возможными способами.

Понятно, что такой министр юстиции сразу должен был стать в враждебные отношения к коллегии, которая, не сходясь в круге его действий, могла по праву почитать себя ему не подчиненною. Он не мог или не решился уничтожить ее, вычеркнуть сенат из ряда государственных учреждений России; но в руках его были все средства личной власти для того, чтобы нравственно унизить сенат, опутать его сетями, сделать физически невозможным независимое его действие, приковать его к системе личного министерского управления; всеми этими средствами гр. Панин воспользовался и, надобно сказать правду, — достиг своей цели.

Мы уже заметили, что еще при императоре Александре с учреждением госуд<арственного> совета и министерств сенат фактически перестал быть первым правительственным местом в государстве. Непосредственные отношения его к императорской власти мало-помалу исчезли или превратились в пустую форму всеподданнейших докладов; точно так же мало-помалу начало превращаться в пустую форму и непосредственное назначение сенаторов высочайшею властью. В обществе явилось уже мнение, что в сенат как в кладовую или архив сдают людей старых или малоспособных; но, повторяем, все еще держались преданий старого времени. Министры в отношениях к сенату не доходили еще до того цинического пренебрежения, до которого дошли впоследствии. Из числа стариков, доканчивавших в сенате свою карьеру, многие принадлежали к числу людей, когда-то блиставших на службе и в обществе, людей с знатным именем и с большим состоянием, следовательно, по тому самому находились в положении независимом, но далеко не все могли почитаться судьями не способными. Звание сенатора было еще одним из самых почетных в государстве; государь знал лично почти всех, и каждый мог еще обращаться к нему без посредника. Прав-

да, что канцелярия сената имела на дела значительное влияние, что делопроизводители не отличались честностью: но таково было с незапамятных времен устройство всех присутственных мест в России. Самые министерства, как прежде, так и ныне, покоряются тому же закону исторической необходимости. Важно было именно коллегиальное устройство сената, важно было более или менее независимое положение членов; важно было то, что не приказание начальника, а слово: закон — служило осью, около которой вращались колеса целой машины. Положим, что это слово нередко оставалось пустым звуком или поводом к прикрытию беззакония, министр мог бы еще многое улучшить в этом отношении, улучшив состав канцелярии; но все-таки, повторяем, драгоценно то, что в сенате при суждении о высших вопросах и лицах управления было совещание, в котором и сенатор, и обер-прокурор, и даже обер-секретарь могли безответственно выражать свое мнение, каждый в форме, присвоенной его званию, опираясь на закон.

Только со вступлением гр. Панина в управление министерства юстиции началось систематическое унижение сената и сенатской власти; при нем только, — и благодаря ему, — неспособность сенатора вошла в пословицу и оправдалась на деле. Дела высшего управления принадлежат, как известно, к ведомству I-го департамента сената, следовательно, в нем беспрерывно встречаются случаи столкновения сената с министрами и главными лицами управления, случаи, в которых сенату принадлежит решительное слово. Но такого решительного слова гр. Панин ни за что не допустит в сенат. Он употребляет I-й департамент исключительно как средство для сохранения своих хороших отношений к прочим министрам. При назначении обер-прокуроров в I-й департамент гр. Панин обыкновенно говорит им: надеюсь, вы разделяете мое мнение, что в России может быть одна только власть государя, а сенат не есть власть? Вот образчик государственных понятий гр. Панина о равновесии властей; на деле он вполне осуществляет его и под прикрытием высочайшего имени нарушает закон непрерывно; а таким образом в сущности единая власть, признаваемая им, теряет действительное значение и уступает место самовластию личностей, употребляющих во зло монаршую силу и монаршее слово. Естественно, для осуществления своего идеала в сенате гр. Панин нуждался только в людях неспособных, уклончивых и бесхарактерных, не имеющих никакой самостоятельности либо вовсе раболепных. Такими членами мало-помалу наполнил он присутствие сената; в I-м департаменте сената по необходимости должен был он на время удер-

жизнь людей с некоторым значением, но теперь и там едва ли уже остается хотя один сенатор самостоятельный. Теперь все департаменты сената наполнены людьми темными, невежественными, не имеющими никакого понятия о законе, правителями министерских канцелярий, неспособными губернаторами, дивизионными генералами, окончившими свою служебную карьеру, людьми, которые воспитывались на военной дисциплине и на служении лицам, без труда привыкли к мысли видеть в министре юстиции своего начальника, а в себе чиновников, от него зависящих. Самых неспособных гр. Панин принял за правило назначать к присутствованию и в первоприсутствующие в Москву; понятно, что издали ему труднее было бы управляться с московскими сенаторами, если б не было такого различия. Закон объявляет сенаторов в положении независимом, отношения их к императ<орской> власти непосредственными; а на деле министр юстиции сделал себя единственным их милостивцем, и надобно сказать, что этим положением своим пользуется он бессовестно, с произволом, доходящим до цинизма. Сенатор по семейным обстоятельствам своим заявляет желание присутствовать в Петербурге или в уголовном д<епартамен>те: одного этого желания достаточно для того, чтобы гр. Панин назначил его в Москву или в гражданский д<епартамен>т, прикрываясь волею государя, который ничего о том не ведает. Под прикрытием той же высочайшей воли гр. Панин часто переводит их по своему произволу из департамента в д<епартамен>т, от одних дел к другим, совсем иного свойства (напр<имер>, сенатор Гевлич в продолжении 6 лет находился в 6 разных д<епартамен>тах). Сенатор просит министра доложить государю об увольнении его в отпуск: министр отказывает решительно*. Сенатор при наступлении вакантного времени объявляет желание воспользоваться отдыхом в течение первой половины ваканта: министр увольняет его по высочайшему повелению — на вторую, или оставляет присутствовать на обе. Сенатор приезжает к министру: министр

* Из множества примеров — вот один, известный всему петербургскому чиновному миру. Один сенатор, страдая каменной болезнью и не имея в виду в Петербурге искусного оператора (Пирогова не было), просил гр. Панина об исходатайствовании ему отпуска за границу или в Москву, или перевода в Москву, или, наконец, назначения в Москву во время ваканта. Гр. Панин решительно отказал ему, но советовал оставить на время службу, обещая по выздоровлении исходатайствовать ему прежнее звание. Сенатор последовал совету гр. П<анина>, но когда по выздоровлении обратился к нему с просьбой об исполнении данного обещания, то получил отказ.

не принимает его или обращается с ним презрительно. Спросят: как же сенаторы терпят такое обращение? Но не забудем, что сенаторы назначаются большею частью по выбору или с согласия гр. Панина, что выбор его почти всегда падает или на людей, которые ему одолжены карьерою и средствами к жизни, или на людей неспособных, ничтожных и робких душою. С таким человеком, который назначен мимо него, по личному выбору высочайшей власти, и сам имеет к ней доступ, гр. Панин, конечно, никогда не позволит себе неприличного обращения. Затем остаются немногие личности, имеющие уважение к себе, но не имеющие внешних средств для того, чтобы принудить и гр. Панина к такому же уважению. Что остается им делать? жаловаться? Но кому принесут они жалобу, если она должна пройти через руки того же гр. Панина? Бывали случаи, что сенатор, оскорбленный неприличным обращением гр. Панина, обращался лично с письмом к государю; а государь удовлетворял просьбу, на которую гр. Панин отвечал неприличным отказом. Но если цель подобного письма была не столько удовлетворение просьбы, сколько жалоба на поведение гр. Панина, то цель эта никогда не достигалась; не так легко устроить, чтобы письмо было прочитано самим государем: по большей части оно переходит от государя в руки людей, имеющих одинаковые интересы или одинаковый взгляд с гр. Паниным. Топильский съездит несколько раз для переговоров, и дело оканчивается обыкновенно тем, что или разрешение жалобы предоставляется тому же гр. Панину, на которого она принесена, или просителю дается ответ, составленный с известною канцелярскою уклончивостью.

Если министр имеет такое низкое понятие о должности сенатора, что представляет к занятию ее людей неспособных, — если имеет так мало уважения к личности каждого сенатора, то можно себе представить, какое понятие должен иметь он вообще о достоинстве сената. Как бы ни были добросовестны судьи, они должны потерять всякую энергию, видя, что решения их не уважаются, указы не исполняются и нет средств принудить к исполнению. Губернские правления и губернаторы смеются над указами сената, потому что сенат не имеет права сделать им и простой выговор без высочайшего разрешения; а представление определения через комитет министров обставлено такими формальностями, что канцелярии, заваленные перепиской, избегают всех подобных случаев. Замечание губ<ернскому> правлению может быть сделано не иначе как с согласия министра юстиции, который держит такие определения без пропуска по нескольку месяцев. И наконец, если удастся пройти с выгово-

ром или замечанием чрез все мытарства, — какую силу будет иметь взыскание, не влекущее за собою никаких последствий? Выговоры и замечания беспрерывно делает сенат гражд^{анским} палатам, но палаты давно уже привыкли к ним. Сенат требует донесения, подтверждает, настаивает: губ^{ернское} правление или палата молчит, иногда целый год или более; закон предоставляет в таком случае послать нарочного на счет виновных — средство самое действительное; но министр юстиции самовольно присвоил себе право требовать к рассмотрению все определения о посылке нарочных; продержав такое определение несколько месяцев, он обыкновенно возвращает его, предлагая назначить еще срок для доставления рапорта... Мы не преувеличиваем: такова действительно система, принятая Паниным в последнее время; что же можно видеть в ней, кроме тупого, упрямого желания унижить власть сената и ослабить всеми способами самостоятельную его деятельность. Частные лица изумляются слушанию присут^{ственных} мест, раздражаются на сенат, обвиняют сенат в бездействии, ссылаясь на закон о власти сената; не знают они, частные лица, что сенат не виноват тут нисколько и что министр юстиции, блюститель закона, давно спрятал в свой карман закон, который не пришелся ему по нраву.

В отношении к генерал-губернаторам министр юстиции не допускает никакой ответственности перед сенатом, о министрах и говорить нечего. Министры, по его мнению, не обязаны давать сенату ни малейшего отчета в своих действиях. По одному делу, по которому было истребовано мнение от гр. Клейнмихеля, сенат согласился в существе с этим мнением, но заметив, что оно не представлялось в течение 10 лет, определил: поручить графу Клейнмихелю собрать сведения о причине такой медленности и представить их в сенат. И эти уклончивые выражения показались Клейнмихелю оскорблением; он взбесился и на следующий же день в комитете министров излил свою ярость на Илличевского, управлявшего в то время министерством юстиции. «Посмотрите, — сказал он, держа указ и трясая им перед испуганным Илличевским, — посмотрите: ваш сенат осмеливается присылать мне такие указы. Вот я покажу, я поеду к государю», и пр. Что же сделало министерство? Указ оставили без действия; для утolenия Клейнмихелева гнева обер-прокурору, пропустившему правильное определение, сделан был выговор; а секретарь, у которого производилось дело, должен был перейти в другое министерство. Панин по возвращении из отпуска пришел также в негодование на сенат и немедленно разослал циркуляры, которыми предписывалось представлять к нему все опреде-

ления, которыми заключено требовать от министров объяснений.

За исключением дел, которыми лично интересуется гр. Панин, всем остальным делам предоставляет он разрешиться как случится. Он ленив по природе своей во всем том, в чем обязан быть деятелен по долгу; гр. Панин занимается тщательно только делами, переходящими в государс<твенный> совет, потому что в совете не может уже быть безгласным. По недостатку юридических познаний это занятие составляет для него весьма тяжкий труд, прерывающий любимое его упражнение — чтение журналов и газет. Поэтому он старается и, следовательно, побуждает своих подчиненных стараться, чтобы сенаторы соглашались с его предложениями. Для достижения этой цели употребляются уловки всякого рода. При прежних министрах предложения печатались и рассылались к сенаторам вместе с их мнениями за несколько дней до доклада, дабы они имели время сообразиться. Гр. Панин изменил этот порядок. Предложения, иногда в числе 10, посылаются к обер-прокурору за час или за полчаса до доклада. Сенатор читает сперва мнения сенаторов (либо вовсе не читает их), потом предложение; сенаторы, слушавшие дело за несколько месяцев, не могут ни припомнить всех обстоятельств, ни сообразить своих мнений с предложением, которое вдобавок весьма часто прочитывается тихим голосом и вообще дурно или с расчетом растянута на нескольких десятках листов. Расчет верен: бессмысленное чтение, продолжающееся иногда по нескольку часов, до того утомляет зевающих старцев, что они рады только избавиться скорее от мученья и соглашаются с предложением. Когда не составляется надлежащего большинства голосов в пользу предложения, то обер-прокурору объявляется приказание графа уговаривать сенаторов отступить от своего мнения, и многие на это соглашаются, опасаясь неприятностей от министра. Когда большинство голосов составилось по многим предложениям, обер-прокурор получает чрез Топильского письменное изъявление признательности министра за успешный доклад предложений!

В министерстве дела рассматриваются на консультации, членами которой определяются люди, не имеющие никаких юридических познаний. Председательствует здесь генерал-майор Языков, бывший полицмейстер в Риге. В одно заседание здесь докладывается до 20 печатных записок, из которых многие нередко рассылаются к членам для прочтения за неделю, а иногда только за день до доклада; не имея времени их прочесть, члены пробегают мнения сенаторов и обыкновенно соглашаются с до-

кладчиком; обер-прокуроры, теряя целое утро в заседании, спешат только скорее от него отделаться, общее внимание возбуждается только гласными делами или теми, которыми министр интересуется. Вообще заседания эти имеют вид нарядного представления, — из этого представления рождаются, однако же, предложения министра; немудрено, что с переменой докладчиков каждый раз меняется взгляд министра на дело, а докладчиков министр меняет беспрерывно; важнейшие вопросы получают на консультации разрешение по мнению людей молодых, вовсе не сведущих в судебной практике; уголовные дела поручаются докладчикам, знающим только гражданское право и наоборот; оттого случилось, что в одном заседании общего собрания первых трех департаментов слушались по одному и тому же вопросу два предложения, из коих одно было противоположно другому; это очень дико, но еще удивительнее, что некоторые сенаторы соглашались с каждым предложением!

Посмотрим на канцелярию сената: страшно подумать, что сделал из нее гр. Панин. Надобно сказать правду: при вступлении в управление министерством он нашел ее в незавидном положении; много было в ней людей способных, и это весьма естественно, потому что в судебном деле способные деятели всего скорее выказывают себя и успевают сделаться необходимыми; но честных делопроизводителей было очень мало. Обер-секретари, секретари и помощники их, все поседевшие в сенатском деле, все почти вышедшие из рядов приказных, работали более на себя, чем на дело государственное. Многие торговали открыто правосудием сената; понятие о честности совпадало с правом — на благодарность; немногие возвышались до чистой идеи о честном и добросовестном труде: то были уже явления редкие, натуры исключительные. Таков состав канцелярии во всех наших судебных местах, но в сенате менее, чем где-нибудь, можно было с этим помириться. Старым элементам приказной службы только и было место: новому свежему поколению не давали ходу старые делопроизводители до тех пор, пока и новое не настраивалось на один лад со старым. Молодые люди, окончившие курс в университете, по закону должны были прослужить несколько лет в низших присутственных местах и когда попадали после того в сенат, то поневоле обращались в тех же людей старой школы; трудно было и ожидать иного результата, потому что каждый молодой человек должен был, однако, пробиваться к должности сколько-нибудь самостоятельной годами черной работы и терпения, и надежду на успех и примеры для деятельности должен был видеть в людях с приказными понятиями о служебной нравст-

венности. В это время появились первые выпуски из училища правоведения¹⁵, которое по первоначальному плану должно было готовить молодых людей для сенатской службы. Многие, и сам гр. Панин, смотрели тогда с каким-то недоверием на незванных пришельцев, явившихся перебивать места в сенате, но вскоре взгляд Панина переменялся, и он начал давать ход по своему ведомству людям нового поколения. Самому ли ему принадлежит эта мера или постороннее влияние навело его на нее, во всяком случае, это была мера добрая и здравая. Но, к сожалению, впоследствии оказалось, что и здесь гр. Панин не изменил своему свойству делать все наперекор здравому смыслу, не обращая внимания на условия действительности.

В первое время, покуда гр. Панина окружали еще люди, которые могли иметь на него доброе влияние или умели противодействовать его фантазиям, обнаружились благодетельные последствия новой системы. Министерство юстиции и сенат стали наполняться людьми молодыми, получившими образование в университетах и в училище правоведения. Робко и нерешительно начинали они свою карьеру, встречая противодействие в массе старого поколения, окружавшей их со всех сторон, не разделявшей их образа мыслей, смеявшейся над их служебной наивностью, ненавидевшей их за то предпочтение, которое им явно оказывали. Но по мере того, как прибывало число новых пришельцев, связанных между собою духом корпорации и товарищества, укреплялись силы их внешние и внутренние, а силы противников слабели. Новое поколение разделилось на группы, состоявшие в общей связи, поддерживавшие друг друга и поддерживаемые сверху неизменным покровительством министерства.

Покровительство это оправдывалось в глазах всех благонамеренных людей тою доброю мыслью, которую думали видеть в нем: оно не превратилось еще в насильственную запретительную систему, в которой одному классу отворена широкая дорога, а всем другим заперта безусловно. Молодые люди, одушевленные на первый раз и мыслью о своем призвании, духом товарищества, не успели еще приобрести опасной веры в свое безусловное превосходство. Каждый должен был трудом и способностью доставить себе место и значение, каждый, вступая в службу, не доверял еще своим силам, но искал около себя наставника и руководителя... Нашлось несколько почтенных людей, которые взяли на себя эту благородную обязанность, и около этих-то руководителей успели образоваться группы молодых людей, работавших с одушевлением и любовью к делу; скоро министерство юстиции могло похвалиться, что ни в одном министерстве нет такого количества людей способных и свежих душою.

Сколько можно было бы ожидать прекрасного от того начала, если бы гр. Паниным действительно руководствовала мысль и если бы он в состоянии был понять, что всякое учреждение, на мысли основанное, должно развиваться разумно и свободно. Последствия показали, что, давая ход в своем м<инистерст>ве молодому поколению, гр. Панин вводил только новые формы вместо старых; казалось сначала, что к старому дереву с испорченными соками думает он привить новые здоровые соки: оказалось, что он обрубал только старые ветки и, не думая ни о какой прививке, хочет механически примазать на старые места ветки, отрубленные от другого молодого дерева.

С выходом Пинского из Д<епартамен>та м<инистерст>ва юстиции обнаружилось, что гр. Панину надобны не люди, а исполнители приказаний, единицы для занятия мест. Из своего кабинета, отчужденный от всех, кроме Топильского, не разбирая ни труда, ни способности, не справляясь ни с какими местными потребностями, начал он распределять и рассылать по всей России молодых людей своего ведомства. Во всех этих назначениях не было никакого порядка, и единственная мысль, которую позволительно угадывать в них, — есть мысль уничтожить всякую самостоятельность отдельной личности, с тем чтобы заменить ее мертвым механизмом формы; говорим позволительно, потому что такая мысль соответствует вполне изображенному нами характеру гр. Панина. В людях новых, ничем не связанных с прошедшим, не успевших еще привыкнуть к самостоятельной деятельности и развить в себе духовные силы, которые только в труде и разумной борьбе получают крепость, привыкших с самого начала своей службы видеть в ней свою карьеру, а в министре — свое провидение, — в таких людях гр. Панин точно мог надеяться осуществить свою идею личного управления, из них мог он образовать целый полк чиновников, отмеченных одною печатью. Теперь никому уже не позволено думать, что он полезен для службы, что он нужен, Топильский прямо говорит: нам люди не нужны, а людям нужны наши места. Каждый должен убедиться, что он получает место и сохраняет его единственно по милости гр. Панина, что он машина, устроенная для исполнения приказаний графа и Топильского, которую они могут во всякое время изломать и выбросить в окно. Наполнив присутствие сената людьми неспособными и ничтожными, гр. Панин стал назначать и на места обер-прокуроров министерских чиновников, приученных почитать законом приказание министра, а благоволение его и Топильского мерою собственного достоинства, людей, которым служба дала значение, для которых

испортить служебную карьеру казалось бы величайшим бедствием. Он опутал их целою сетью ордеров и формальностей, сетью мелких и неисполнимых обязанностей, для того чтобы каждый из них каждую минуту был под страхом ответственности, страхом, который с министерской точки зрения должен заменять для чиновника совесть и чувство собственного достоинства *. Приучив их всего ожидать от себя, стесняя мало-помалу и ту свободу деятельности, которую закон предоставляет обер-прокурорам, гр. Панин отнял у них даже право, предоставленное законом, — выбирать для определения на места чиновников, за деятельность которых они обязаны отвечать по закону, и на убылые места начал присылать им секретарей и столоначальников, выбирая их по спискам и по именам, без всякого соображения с личными достоинствами и способностью. Департаменты сената наполнились молодыми людьми, не известными ни министру, ни непосредственным своим начальникам, никем не испытанными. Мудрено ли, что почти все эти молодые люди оказались вскоре ничего не делающими; не их должно обвинять в том, а пагубную безрассудную систему. Вследствие этой системы воспитанники училища правовередения еще на школьной скамье приучаются думать о том, какое получают место, и перестают думать, что место добывается трудом и способностью; каждый год целые десятки их поступают на готовые места, достающиеся им даром; прежняя робость заменилась самоуверенностью, прежнее стремление к делу — стремлением к месту и отличиям; прежнее желание

* Несмотря на 18-летнее управление министерством юст., гр. Панин не знает в точности, в чем заключаются обязанности чиновников, не может судить об их достоинстве; не может определить, какое упущение важно, какое не заслуживает внимания, поэтому взыскания никогда почти не бывают соразмерны вине. В м<инистерст>ве юстиц<ии> обязанности чиновников столь многосложны, что нет никакой физической возможности исполнять их во всей точности, и нет чиновника, по части которого не было бы неисправностей в реестрах и бесчисленных ведомостях, изобретенных гр. Паниным. Изъявления удовольствия гр. Панина столь же неосновательны, как и взыскания. Однажды он потребовал из одного д<епартамен>та сената сведений о количестве дел, решенных по каждой экспедиции в продолжении недели; оказалось, что в одной было решено 10 дел, а в другой 30; обер-секретарю последней объявлена была признательность министра и <он> получил награду. Между тем в первой экспедиции производились дела обширные и важные, и она всегда отличалась деятельностью, а в экспедиции, обратившей на себя внимание министра, производились дела мелкие и ничтожные, которых нетрудно было доложить до 30 в один день.

узнать и научиться — желаньем жить в праздности, под защитою министерства. Можно представить себе, каково от того делам! Но министерство не заботится о деле, лишь бы очищались бумаги и сводились итоги! Грустно представить себе целые ряды молодых людей, которые, только что покинув школьную скамью, тотчас превращаются в чиновников, праздно наполняющих присутственное место; такими чиновниками гр. Панин стремится сделать всех вновь выходящих воспитанников училища правоведения. Поступая на готовые места, не знакомые с делопроизводством, не привыкнув ни к какому делу, многие из них с самого начала привыкают относиться к нему с каким-то презрением и с первого раза становятся праздными формалистами. Между тем, в их руки достается святое судебное дело, дело, которое требует живого духа и смысла, воспитанного трудом. Но можно себе представить, как относится к труду тот, кому все без труда достается. Министерство юстиции при определении на места не различает уже способных и неспособных, ленивых и усердных; все воспитанники училища равны перед ним, потому что оно ни одного не знает и не заботится узнать и оценить, распределяя их по департаментам сената без всякого соображения. Правда, что они, большею частью, не берут взятку: отдадим этому качеству полную справедливость, но не забудем и того, что дешевая честность никому не приносит пользы, если наряду с нею является праздность, беспорядок и равнодушие к делу. Впрочем, и с этой стороны последнее время представило несколько примеров того, что честность, не на мысли основанная, есть честность непрочная: к сожалению, должно сказать, что некоторые из воспитанников училища правоведения пошли по следам старого приказного поколения. Прибавим, что это были большею частью молодые люди, от которых сами товарищи всегда отворачивались с презрением: они никогда не попали бы на места с влиянием, если б при назначении на места гр. Панин сколько-нибудь соображался с личными качествами назначаемых. Если когда-нибудь, принимая под свое покровительство воспитанников училища правоведения, гр. Панин руководствовался мыслью благородною — в чем позволительно сомневаться — то в настоящих его действиях нет уже и следа этой мысли. Теперь это покровительство как все, до чего касалась рука гр. Панина, превратилось в пустую форму без всякой мысли. В начале, сказали мы, покровительство это простиралось на всех молодых людей, кончивших курс в высших учебных заведениях; но около 1848 года гр. Панин внезапно почувствовал какую-то ненависть к университетам, особенно к Московскому, в котором всегда видел дух

какой-то строптивой самостоятельности; с того времени он начал мало-помалу запира́ть вход в свое министерство студентам. Сколько раз случалось, что обер-прокурор, заботясь об устройстве своего д<епартамен>та, представлял министру об определении способных и дельных людей, жаждавших вырваться из душной атмосферы наших присутственных мест, в которых определено студентам коснеть 3 года после выпуска. Ответом на такое представление в последние годы бывал почти всегда отказ с предписанием: сыскать и представить на место кого-нибудь из воспитанников училища правоведения. Дошло до того, что года три тому назад все обер-прокуроры получили от министра положительное предписание не представлять на места никого, кроме воспитанников училища правоведения. Министр не опасался ответственности за это противозаконное распоряжение: он знал, что никакая власть не спросит у него: по какому праву осмелился он ограничивать силу закона, который никому из кончивших курс в высших училищах не запирает дороги к службе*.

Но этого мало, постоянное стремление гр. Панина поставить всех чиновников в безусловную от себя зависимость, как материальную, так и нравственную, приковать к своей особе все силы и все личности своего управления, — это стремление увлекло его еще далее. Он первый подал пример пагубной системы, которую в последнее время с его «тяжкой» руки приняли многие министры, — системы распоряжаться по произволу личностью чиновников, переводя их с места на место, из одного края империи в другой; закон не представляет ни одному министру в граждан<ском> управлении такого кабального права над своими подчиненными, права, не спрашивая их согласия, отрывать их от одного места и ставить на другое. Такая система могла еще иметь смысл в XVII столетии, когда думали частым перемещением воевод предупредить или уменьшить злоупотребления. К судебному же управлению эта система никогда и не прилагалась у нас до графа Панина: только в его голове, лишенной здравого государственного смысла, могла возникнуть мысль столь несчастная. И прежде приказное управление наше держалось дьяками, и ныне юриспруденция наших присутст<венных> мест, при всеместной неспособности судей, держится делопроизводством. Понятно, что в судебном деле необходимее, чем во всяком дру-

* Бывали примеры, что м<инистерст>во юстиции отказывало отличным университетским кандидатам в определении на места по тому соображению, что они по сформулированным спискам значатся происходящими из податного состояния.

гом, знание закона и делового механизма, юридическая способность и опытность, близкое знакомство с тою сферою, в которой приходится действовать; оттого у всех образованных народов люди, посвятившие себя судебной карьере, всегда ценились тем более, чем более каждый на своем месте успеет приобрести опытности и авторитета; везде правительство заботилось, чтобы люди, признанные способными, оставались на своих местах как можно долее, везде оно дорожило деловою опытностью, приобретенною продолжительными занятиями одного и того же рода. Безумно было бы судебное дело, на разуме основанное, почитать трудом механическим, на который способен всякий, кого ни поставишь. К несчастью, таково понятие гр. Панина о святом деле правосудия, которым он управляет. Сказывают, что лет десять тому назад один из губ<ернских> прокуроров подал ему проект, в котором старался доказать, что чиновников необходимо как можно чаще переводить с места на место. Мысль эта понравилась гр. Панину, и с тех пор начал он систематически разрушать судебный порядок в России непрерывным переводом чиновников. Мало-помалу эта склонность сделалась у него страстью, доходящею иногда до невероятных размеров. Сколько раз случалось, что, сидя в своем кабинете, брал он в руки печатное расписание чинов министерства юстиции и, открыв где попало страницу, отмечал карандашом то или другое имя. Это значит, что где-нибудь в углу России несчастный прокурор или товарищ председателя палаты должен со всем семейством, без всякого вспоможения от казны, скрепя сердце ехать на другой край государства, оставляя дом свой и все заведение: гр. Панин принял за правило давать денежное вспоможение только в таком случае, если расстояние переезда более 1000 верст. Попробуй этот несчастный возражать; ему скажут: извольте выходить в отставку; попробуй просить, чтоб его оставили: граф Панин сочтет эту просьбу за ослушание, за оскорбление*. Так случалось много, много раз, и пишущий эти строки бывал часто свидетелем отчаянных и бесплодных усилий, которые употребляли жертвы гр. Панина для того, чтобы подействовать на его рассудок и сердце; он всегда

* Гр. Панин любит делать противное тому, о чем его просят: человека, имеющего родных и оседлость в Петербурге, он назначает в Москву и наоборот. Одно время он вздумал давать отпуска в виде награды чиновникам, не просившим оных и отказывать тем, которые имели в них надобность; кто получал отпуск без просьбы и без нужды, тот уже не смел оставаться при делах своих на все время отпуска; Топильский приказывал ему скрываться, чтоб не показаться ослушником против гр. Панина.

оставался непреклонным и предлагал просителю или повиноваться, или оставить службу. Трудно поверить, что в иные недели, когда сильнее разыгрывалась фантазия министра, он каждое утро поглощал по несколько таких жертв в своем кабинете! Известно, что прокурорская должность состоит в борьбе с нарушителями закона. Гр. Панин, верный своему взгляду, желает, чтобы дело прокурорское обходилось без всякого пререкания с губ<ернскими> властями; потому всякое законное столкновение прокурора с распоряжениями губернатора, как бы это последнее ни было незаконно, кажется гр. Панину неприличным. Обыкновенным взысканием за такую вину служит перевод — на противоположный конец России. Ни один добросовестный прокурор не избегал еще столкновения с распоряжениями губернатора, потому что губернаторы по большей части привыкли не руководствоваться законом в своих действиях, привыкли покрывать своим авторитетом действия губ<ернских> правлений и подчиненных властей. Можно себе представить поэтому, каково положение добросовестного прокурора под начальством гр. Панина. С одной стороны, закон ставит ему в обязанность — преследовать нарушения закона; с другой, м<инистерст>во юстиции смотрит на всякий протест как на нарушение официального молчания, в котором должны, по мнению его, совершаться действия губернских властей. Оттого прокурор, который протестует часто и не живет в ладах с губ<ернским> начальством, скоро получает у министра репутацию человека беспокойного и переводится, а тот, кто равнодушно молчит и только пишет слово «читал» на журналах присут<ственных> мест, почитается примерным прокурором. Прокурорский надзор мог бы иметь самое благодетельное влияние на все губернское управление, служил бы верным обузданием насилия и беззаконий, если б министр юст<иции> поддерживал действия прокуроров в защиту закона. В таком случае министр имел бы всю возможность наполнить места прокурорские людьми честными, добросовестными, знающими, с благородным стремлением к добру и законности: таких людей много было у него под рукою. Что ж вышло? Люди самые благородные и ревностные к благу упали духом, видя, что влияние их разрушается министром, который должен бы был их поддерживать, и что за всяким энергическим действием в защиту закона следует перевод на другой конец России. Трудно исчислить, сколько гр. Панин погубил или отнял у себя таким образом добросовестных и способных людей.

Той же системы перемещений держится он и относительно сенатской канцелярии: вот чем объясняется жалкое положение,

в котором она теперь находится. Едва только успеет обер-прокурор ознакомиться с делами и чиновниками своего департамента, привести в порядок дела, дать некоторое единство юридических взглядов, гр. Панин безумно переводит его в другой д<епартамен>т, к другим делам и личностям; того, кто целую жизнь занимался уголовною частью и составил себе репутацию криминалиста-практика, не имея никакого понятия о делах гражданских, того гр. Панин переводит в граждан<ский> д<епартамен>т. Очищается вакансия обер-прокурора: гр. Панин почти всегда для замещения ее придумывает самую сложную комбинацию: переведет на свободное место обер-прокурора из другого д<епартамен>та, на его место возьмет обер-прокурора из третьего, и так далее, и замечательно, что почти всегда человеку, постоянно занимавшемуся однородным делом, поручается дело, несколько ему не знакомое *. То же самое делается с обер-секретарями и с секретарями. Едва успевала образоваться в д<епартамен>те под влиянием опытного обер-прокурора группа людей даровитых и трудолюбивых, едва успевали эти люди приобрести некоторую устойчивость во взгляде на дела, опытность в законах и некоторый авторитет в разрешении вопросов, — являлся гр. Панин со своим разрушительным влиянием, и вся группа распадалась: прежние деятели уходили прочь, уступая место вновь присланным чиновникам, которые, ничего не зная, не имея никакой опытности, должны были приступать к трудному делу; они не начинали еще учиться, а от них уже зависело разрешение сложных вопросов, поставляющих нередко в затруднение опытного практика. Нетрудно себе представить, как разрешались эти вопросы — положим, что некоторые из этих людей истратились учиться: и их ожидала через несколько лет или через несколько месяцев, как вздумается гр. Панину, та же участь, которая постигла их предшественников; или сами они, наскучив делом, которого не умели и не хотели понять, скоро отправлялись искать себе блаженного бездействия в губернские палаты на судебных креслах.

И вот такую-то системой один безумный человек успел в течение каких-нибудь семи-восьми лет довести сенат до самого бедственного положения. Все департаменты без исключения разстроились, способные люди исчезли из сената, потому что добросовестному человеку нет уже никакой возможности дейст-

* Мы знаем пример одного гражд<анского> д<епартамен>та, в котором в течение 9-ти лет переменялось до 11 обер-прокуроров, считая в том числе временно исправлявших должность.

водить в том беспорядке, до которого дошло сенатское производство. На места столоначальников, на которых лежит вся материальная приговорительная работа, присылаются молодые люди, не имеющие ни склонности к этой работе, ни умения взяться за нее: и их беспрерывно переводят. Секретари, поступая на места на том же основании и из тех же молодых и неопытных столоначальников, находятся в том же положении. Обер-секретари, переводимые с места на места, ни на одном не успевают привыкнуть к делу, но каждый мало-помалу смотрит на свою должность как на средство достигнуть другой, более спокойной и выгодной. Обер-прокуроры, задавленные уже одною формальною перепискою, не успевают просматривать огромного количества определений. Человек бумажный, равнодушный к внутреннему смыслу своей деятельности, легко примирится с таким положением и, очищая исправно бумаги да сводя цифры итогов, может служить, не опасаясь ответственности: министерство будет им довольно, лишь бы все снаружи было шито да крыто. Но тот, кто привык видеть не одну бумажную работу в деле правосудия, поставлен в решительную невозможность действовать добросовестно; невозможно такому человеку принять на себя, кроме всей умственной, и всю материальную работу, при письменном производстве умножающуюся до невероятности. А верных помощников он около себя не находит. Официальные помощники его большею частью люди или вовсе неспособные, или незнающие; а немногие люди, на которых мог бы он еще положиться, поставлены, подобно ему, каждый на своем месте в материальную невозможность действовать добросовестно: они скоро устают и уходят прочь; немного еще осталось уголков сената, в которых по какому-то счастливому случаю удержалось затишье, то есть сохранилась довольно долго группа людей, дружно действующих; вообще же подвижной состав сенатских канцелярий, особенно в гражданских департаментах, таков, что должно еще удивляться, как до сих пор не остановилась испорченная машина правосудия. Взгляните отчеты министра юстиции: все итоги подведены удивительно верно: но какая страшная официальная лож скрывается под этой гладкой поверхностью! Для того чтобы обнаружить ее, надо заглянуть в будничную жизнь судебных мест; надо посмотреть на это присутствие, составленное из людей, лишенных и юридического смысла, и понятия о законах, и уважения к ним; надобно послушать эти доклады, по которым нередко в 3 четверти часа разрешается тридцать, сорок дел, составляющих тысячи листов писаной бумаги, на этих делопроизводителях, которые с важностью распоряжаются правами частных лиц,

не имея твердого убеждения в верности решения. И точно, в этих решениях сего дня у одного производителя названо черным то, что завтра у другого будет белым; всякое дело имеет судьбу свою, и эта судьба зависит от случая, от ходатайства, от денег, редко-редко от того, что дело попадет в руки человеку опытному в судебной практике, но и это правильное мнение одного человека, если оно не поддерживается доктриною, — или по крайней мере юридическим смыслом сословия, — представляет тоже случайным, одиноким явлением. Нет такого справедливого дела, которое не могло бы быть проиграно; нет такого незаконного дела, которое не могло бы быть выиграно, потому что нет твердых начал, по которым законное отличается от незаконного. Немудрено, что находится немало охотников ловить рыбу в мутной воде сенатского правосудия.

Повторяем с уверенностью: все годовые отчеты, представляемые государю гр. Паниным, состоят из фальшивых цифр, сочиняемых в присутственных местах и в случае надобности изменяемых в департаменте министерства. Достоинство присутственных мест определяется преимущественно количеством положенных дел; поэтому присутствующие и начальники канцелярий употребляют различные средства для того, чтобы к концу года не оставалось дел не доложенных. Дела, по которым не успели сочинить записки, докладываются на словах или по ним даются следующие резолюции: «по обширности дела сочинить записку», или даже — «доложить после праздников», — и такие дела не считаются недоложенными. Для той же цели требуются ненужные справки во всяких делах, не исключая арестантских и т. под. Иногда в последние дни года докладывается по 50 уголовных дел в одно присутствие, и по всем утверждаются ревизуемые решения; но после представления отчета из этих дел составляются записки и они слушаются вторично.

В течение 18-летнего управления гр. Панина министерством юстиции сколько было произведено ревизий, сколько представлено проектов для преобразования всех частей оного, — а между тем не последовало ни одной полезной перемены! Гр. Панин ежегодно доносит государю, что при его наблюдении министерство юстиции постепенно улучшается, и доказывал это своими фальшивыми ведомостями. Затем возможно ли ожидать, чтобы он теперь решился сознаться, что оно с каждым годом приходило в большее расстройство, и можно ли надеяться на добросовестное содействие его в преобразовании судебной части?

Таково несчастное положение Сената и всего министерства юстиции. В последние три года из него выбыла большая часть

людей способных и полезных для службы; остальные, конечно, воспользуются первым случаем перейти в другое ведомство. Теперь правительство, затрудняющееся в приискании способных и хороших людей, наверное, найдет их в числе тех, которых гр. Панин вынудил оставить м<инистерст>во юстиции. Это всеобщее удаление от гр. Панина людей благородно мыслящих и действующих стало в последнее время слишком заметно, так что сам министр юстиции старался чем-нибудь объяснить его в официальных своих отзывах. Объяснение было у него под рукою: недостаточность окладов жалованья по м<инистерст>ву юстиции. Нет! Это неправда: одно это побуждение не могло подействовать на всех одинаково. Мы знаем многих, очень многих людей, которые терпели до последней крайности и с грустью покидали дело правосудия, которому с любовью, с горячим усердием посвящали себя, людей, которые охотно помирились бы с недостатком материальных средств жизни, лишь бы только была возможность действовать свободно и добросовестно на служение правде и закону. Все они бежали от гр. Панина, когда увидели, что нет около него никакой правды и что всякая добросовестная деятельность под его влиянием сделалась невозможною.

Чем же объяснить себе, что такой человек, как гр. Панин, столь неспособный, столь ненавистный всем сословиям, человек, сделавшийся притчею во всей России, — до сих пор продолжает разрушать в ней правосудие и, как слышно, пользуется монаршим доверием, почитается при дворе полезным государственным человеком? Чем, — если не тою безгласностью, которою он покрывает все свои действия.

Систематически обманывая государя и обеспечив себя личными отношениями к тем людям, которые близки к престолу, — он не боится правды, потому что официальная правда в руках его. Повторим еще: о, если бы государь мог знать и видеть хотя бы малую часть всего, что делает этот человек, облеченный его доверием и так бесстыдно распоряжающийся правосудием в России!